



# НОВАЯ ПОЛЬША 11/2007

## Содержание

1. СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ: КОПАЛИНСКИЙ
2. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
3. ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОРОК, или ТРУДНЫЙ ВЫСПЯНСКИЙ
4. БУДЬ ПОДОБЕН МЕТЕОРУ, СЛОВНО МОЛНИЯ БЛЕСНИ...
5. ПРОНИКНУТЬ В СКАЗКУ МОДЕРНА
6. НАШ ВЫСПЯНСКИЙ
7. СТИХОТВОРЕНИЯ
8. НЕТ — КОРОТКОЙ ПАМЯТИ!
9. ПРАВОСЛАВНОЕ КЛАДБИЩЕ В ВАРШАВЕ
10. ПОЛЯКИ РАБОТАЮТ НА СЕБЯ
11. ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
12. ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
13. ИСТОРИЯ
14. ДВУЯЗЫЧНЫЕ ВЫВЕСКИ
15. КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА
16. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

## СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ: КОПАЛИНСКИЙ

Владислав Копалинский родился 10 июня 1951 г., а его появление на свет (на страницах сатирического еженедельника “Шпильки”) тут же заметил Юлиан Тувим.

Тувим, автор незабываемого у любителей литературных забав “Пегаса дыбом”, пожелал познакомиться с автором, который в лихом анализе стишка “Влезла кошка на окошко” спародировал его ученые анализы несерьезной поэзии (текст был озаглавлен “Буцефал на дыбах”). Он написал в редакцию, чтобы ему устроили встречу с “молодым многообещающим сатириком”. Каково же было его удивление, когда Копалинский оказался многоуважаемым Яном Стефчиком, с которым он, как с директором Польского радио, а потом главным редактором издательства “Читательник” много раз встречался по службе.

Ян Стефчик родился осенью 1940 г., когда немецкие власти издали приказ о переселении варшавских евреев в гетто. Прежде чем Владислав Копалинский стал Яном Стефчиком, он был Владиславом Стерлингом, сыном Самуэля (вероятно, так звучало имя его отца) и его жены Регины, урожденной Виллер, владевших фабрикой бумажных изделий в доме 8 по Электоральной улице.

Он родился 14 ноября 1907 года. С какого-то времени он стал рассказывать друзьям, что ему на 11 лет меньше. Я сама в это поверила. Но жена его друга Мария Ганц рассказала мне, что в школе ее муж Станислав сидел с Владеком Стерлингом за одной партой. А муж родился в 1907-м.

Так или иначе, у него было три жизни, но для нас, читателей и почитателей, он хотел быть Владиславом Копалинским, лексикографом. Это было самое счастливое его воплощение.

### Ангел в жизни Яна Стефчика

Около двух десятков лет назад Копалинский одарил меня своей дружбой, и мы регулярно встречались за “чашечкой чего-нибудь”, в последнее время — в итальянской закуской на Кошиковой улице, прямо возле его дома. Был у нас такой

неписанный договор, что я никогда не расспрашиваю его об оккупационной и довоенной жизни.

— Псевдоним “Копалинский” я использую, — объяснял он мне, — потому что хочу отделить частную жизнь от работы, и намеренно о себе не рассказываю. Я даже не особенно люблю, когда кто-нибудь вспоминает фамилию Стефчик, хотя избежать этого, разумеется, не удастся.

Был он человеком сдержанным, не любил излишней, а эмоции держал на привязи. Кто знает — может, он давал им волю, с удовольствием декламируя стихи великих поэтов и пылко распевая довоенные шлягеры? Слух у него был замечательный, голос сильный, а судя по улыбкам прощавшихся с нами официанток, и они — хотя мы садились в самый дальний угол, — должно быть, слышали его выступления.

Иногда, однако, он испытывал потребность в более личных признаниях. Приступал он к этому как бы нечаянно, я едва успевала достать блокнотик (мне разрешалось приносить блокнотик, потому что с самого начала нашего знакомства было ясно, что отличная память у него, а не у меня).

Под датой 15 октября 2005 г. у меня записано:

— Во время оккупации меня хранил ангел. Я ничего не изменил в своем образе жизни, нормально ходил по улицам. Сменил только фамилию и адрес, переселился с Сенаторской, 17 на Чацкого, 10. Сначала я давал уроки иностранных языков, но это было рискованно. Узнал, что одна парфюмерная фирма ищет бухгалтера. Со временем я даже стал ею руководить. Я совершенно игнорировал оккупационную действительность.

— А ангел? — спросила я тихонько. Он молчал так долго, что я подумала, будто нарушила договор. Но, видно, нет.

— Из всей моей семьи я один уцелел. А из всей моей довоенной жизни — только два человека, в том числе Стась Ганц, сын знаменитого варшавского фтизиатра.

Снова молчание.

— Однажды я шел с моим любимым братом, он был только на семь лет старше меня, остальные братья и сестры были намного старше. Нас опознали. Я кинулся бежать — помню, убежал по Каноничьей. Он остался. Прямо на месте его расстреляли.

**На службе радио и книгоиздательству**

20 февраля 1949 г. Мария Домбровская записала в дневнике: “Пошла к пяти на радио (Уяздовские, 21) на черный кофе с литераторами (...) Единственное, ради чего стоило пойти, — заявление какого-то молодого Стефчика (директора программ), что „лучше всех для радио до сих пор пишет... Шекспир”. Для иллюстрации этого утверждения Стефчик прочитал сокращенную для радио первую сцену „Гамлета”. Я слушала как во сне”. Прежде чем музыкальные студии и радиотеатр переехали в маленький дворец на Уяздовских аллеях, радио ютилось в нескольких комнатах на Тарговой, 63.

— У наших потенциальных слушателей, — рассказывал мне Копалинский, — чаще всего не было радиоприемников, разве что они откопали спрятанные. Грабеж Западных земель еще не начался, и должно было пройти добрых несколько месяцев, прежде чем радио можно было попросту купить. Правда, сравнительно скоро, так как в интересах власти лежало, чтобы люди слушали пропаганду. Ну и установили на Тарговой громкоговорители через каждые 50 метров. Об изучении слушательского рейтинга никто тогда не слышал, но тогдашний директор радио, если шла интересная передача, выходил на балкон и проверял, сколько народу слушает.

Копалинский с чувством вспоминает, с кем он работал в эти первые послевоенные годы:

— Витольд Лютославский, Александр Малишевский, Роман Ясинский, Бронислав Дардзинский — это была наша команда, мечтавшая о распространении настоящей культуры. Некоторое время я любил эту работу, потом — надоело.

И когда в 1949 г. ему предложили перейти в “Чительник” на должность главного редактора, он не отказался.

Он занялся реорганизацией и модернизацией издательства, разделил его на отдельные редакции, на должность административного директора вытащил из Брюсселя Станислава Ганца, который был там консулом ПНР, добился постройки дома для сотрудников издательства в Повислье. По его инициативе вышли избранные стихотворения Болеслава Лесьмяна и с детства любимая книга — “Синдбад-мореход”. Он уговорил Парандовского переложить “Одиссею” прозой. И он же придумал серию “Нике”.

С тех худших сталинских времен запомнил его Владислав Бартошевский:

— Между двумя моими отсидками Копалинский предложил мне писать внутренние рецензии на книги немецких писателей. Мы, собственно, и знакомы не были, я тогда был никто. Но он, видно, знал, в каком я положении, знал, что я не могу зарабатывать. Это было для меня важнее, чем если бы он просто дал деньги. Он отличался культурой, эмоциональностью и сочувствием. Я сохранил о нем благодарную память.

— Мои возможности были ограничены, действовали всяческие нелепые запреты и приказы, — рассказывал мне Копалинский.

— По счастью, можно было издать Пруса, Бальзака, Стендаля, русскую классику. Разумеется, люди переживали разочарование, но как долго можно его переживать? Надо делать то, что можно, и то, что стоит. А если нет — то эмигрировать или заняться торговлей.

— Издательство, — продолжал он, — было организовано по социалистическому образцу, окупаемость в расчет не входила. Мы печатали триста книг в год, работало у нас двести человек. Я осуществил первый, второй, третий издательский план и понял, что больше не выдержу.

Когда он уходил, его спрашивали:

— Что ты будешь делать? Откуда ты знаешь, что сумеешь писать? На что будешь жить?

С тех пор он стал — так он сам говорил — свободен. И одновременно кончились его финансовые проблемы. Ему уже не приходилось после целого рабочего дня, после собраний, совещаний и заседаний, по ночам переводить книги ради хлеба насущного.

После “Чительника” у него еще был краткий эпизод работы в Вашингтоне для Польского агентства печати (ПАП), и потом он уже никогда нигде не работал в штате.

Корреспондентом он стал, считая, что было бы интеллектуальной трусостью отказаться познать Америку XX века:

— Вашингтон, информационный центр мира, все агентства печати, с утра до ночи передающие тысячи депеш. Чтобы это описать, надо быть графоманом. Но если ты, как любой нормальный человек, терпеть не можешь писать, то тебе придется быть несчастным. Я не отдавал себе отчета в том, какое это идиотское занятие, и расплатился за это. Это был для меня такой же ужасный опыт, как годы перед войной, когда

мне приходилось руководить семейной типографией. Но у меня нет причин жаловаться: я сам этого хотел, хотя мне не хватило воображения представить, во что я вляпаюсь.

Он начал добиваться, чтобы его отозвали. В конце концов притворился, что у него больное сердце, и только тогда ему позволили вернуться в Варшаву.

— Думаю, что меня не особенно любили в этом ПАПе, — прибавил Копалинский. — Я слишком мало писал: у меня такой характер, что я люблю писать сжато.

Вскоре после возвращения ему предложили делать свою радиопередачу. “Ответы из разных ящиков стола” он писал раз в две недели на протяжении 19 лет. И тут вдруг звонит ему редактор и говорит, что передача пойдет только раз в месяц, потому что “другим сотрудникам тоже надо на что-то жить”. — “Я вас утешу, — ответил Копалинский. — Добавлю вам еще мои четверть часа для ваших сотрудников”.

Он всегда был такой. Не ссорился, не торговался. Если нет, то нет.

### Отец “надцатилетка” и “перетрудяги”

Еженедельные фельетоны в “Жиче Варшавы” — уже под фамилией Копалинский — он начал писать в октябре 1954 года. Он согласился писать в газеты, потому что, как объяснял мне, уже видны были первые признаки “оттепели”. Он был внештатником, в редакции у него не было ни стола, ни стула — он приходил и отдавал текст. На протяжении 21 года.

— Вначале, — рассказывал он, — “Жиче Варшавы” было неплохой редакцией, потом начало портиться. Когда в 1974 г. вышел очередной, уже пятый сборник моих фельетонов “Вестерн в автобусе”, редакция напечатала анонимную издевательскую рецензию. Это был изумительный предлог поблагодарить их за сотрудничество. Нельзя всю жизнь писать фельетоны.

Хотя фельетон — форма очень личная, мы находим у Копалинского мало биографических деталей, мало о нем самом. Мы узнаём, что он любит гулять в Лазенках (“Лучший отдых наравне со сном, — писал он, — одинокая прогулка”), рассматривая этот парк примерно как свой двор. Отпуск он проводил в Казимеже или Неборове. Побывал в Исландии, России, Грузии, Англии, Ливане, США, Канаде, Италии. Обожал “Алису в стране чудес” и абсурдную поэзию Эдварда Лира. Ну и

еще мы узнаём, что от довоенной жизни ему остались только толстые старосветские часы “Лонгин”, вечное перо “Монблан” и обручальное кольцо.

Его фельетоны — а написал их Копалинский около тысячи — по-прежнему остаются занимательным чтением. В них дышит дух здравого смысла и Тадеуша Боя, на произведениях которого он воспитывался. Среди всяких его благородных навязчивых идей мне больше всего понравились: пропаганда изучения иностранных языков, призывы издавать классиков в оригинале, совет широко пользоваться чековыми книжками (он писал это в 60-е годы) и идея построить в центре Варшавы подземные автостоянки (это он писал, когда на тысячу жителей приходилось четыре машины).

Удивительно, что, с одной стороны, в его фельетонах ощутим живой пульс времени, а с другой — в них совершенно не существует ПНР. Оттого что автор всегда интересовался вещами более прочными, чем текущая политика. Например, языком. Благодаря ему в польский язык вошло, например, как перевод английского “teenager” слово “настолятек” (дословно “надцатилеток”. — Пер.). Однако самый прекрасный неологизм Копалинского — “тырала” (существительное от глагола, означающего “тяжело трудиться”, “отдавать все свои силы”, “растрачивать себя”, т.е. “трудяга” или даже “перетрудяга”. — Пер.). “Словарник — это безвредный перетрудяга” — так определил представителей своей профессии выдающийся английский лексикограф XVIII века, автор “Словаря английского языка” и критического издания сочинений Шекспира Сэмюэл Джонсон.

Вначале Копалинский вовсе не думал составлять словари. Акушеркой этого замысла была его приятельница Мария Ганц. Когда она стала заведовать редакцией в издательстве “Ведза повшехна” (“Всеобщие знания”), то искала каких-то новых идей. Она и предложила Копалинскому составить “Словарь иностранных слов”.

— Я сделал кусочек одной буквы. В издательстве понравилось. Ну и провел над этим следующих два, может, два с половиной года.

Копалинский не останавливался на объяснении значения слова: петитом он добавлял сведения о происхождении, литературном и историческом “адресе” приводимых слов и оборотов. В следующих изданиях (сейчас их уже 30) он совершенствовал свой словарь, добавляя слова из области компьютеризации, электроники и т.п. и снабжая его

обширными дополнениями с тематическими таблицами (созвездия, греческие боги, химические элементы и т.п.).

### **Чудо духовной общности**

И все-таки невозможно, чтобы Копалинскому никогда раньше не приходило в голову составлять словари.

В своих фельетонах он страстно болел за возникавшие тогда “Большую всеобщую энциклопедию” и “Большой словарь польского языка”, писал о великих лексикографах, рецензировал польские и иностранные словари, а некоторые темы его фельетонов как бы предсказывали заглавия будущих словарей. Возвращающийся мотив эмансипации женщин — “Энциклопедию второго пола”, а охота на журналистов, коверкающих цитаты из классиков, — труд, который он напишет вместе с Павлом Герцем, монументальную “Книгу цитат из польской художественной литературы XIV–XX веков”.

Чувствуется, что он любил читать словари. Вот он для утехи перелистывает “Античный словарь” Ламера; в очень личной и полной фантазии английской “Энциклопедии читателя” Бенета находит изложение “Потопа” Сенкевича как романа о “поселении крестоносцев в Польше”, а в пользующемся замечательной репутацией энциклопедическом словаре Уэбстера, в статье “Copernicus”, — “по-немецки Kopernigk, по-польски Kopernicki [Коперницкий]” (и задумывается: “...кто подсунул старому Ноаму Уэбстеру такие сведения”). В другой раз он приводит “изюминку” из только что вышедшего в Ленинграде сборника иноязычных слов и выражений, использованных в русской литературе до 1914 года. Польский язык представлен там статьями “Jeszcze Polska nie zginęła”, “Nie pozwalam”, “Jak Boga kocham”, “Padam do nóg”, “Bardzo nudo”, “Wielkie nic” и... “Potdupka”, что переведено как “на бережку”, а при ближайшем рассмотрении оказывается обычной “ягодицей” (półdupka).

Глядя на витрину книжного магазина Польской Академии наук, где нет ни одного энциклопедического издания, Копалинский спрашивал: “Почему собственно на одиннадцатом году существования Народной Польши, где популяризация просвещения и знаний — один из важнейших вопросов, мы еще не получили изданий, подобных немецкому лексикону Кнаура или „Народному словарю” Брокгауза?” Предчувствовал ли он, когда это писал, что огромную часть этих желанных словарей напишет сам? И что в 1985 г. в упомянутом им книжном магазине ПАН придется выделить специальный стенд, чтобы продавать его “Словарь мифов и



традиций культуры”, а рецензенты под впечатлением объема проделанной Копалинским работы будут сравнивать его с Линде, Корбутом, Глогером [выдающимися польскими лексикографами прошлого]?

— “Словарь мифов и традиций культуры”, — рассказывал мне Копалинский, который в частном рейтинге своих словарей выше всего ставит именно этот, — я составлял по совершенно безумному принципу. Трудно сказать, чем я руководствовался, кроме уверенности, что нужны как раз эти, а не другие статьи. Прости, но обосновать это я не умею.

— И все-таки, — заметила я, — я не помню случая, чтобы я что-то там искала и не нашла.

— И это граничит с чудом, — ответил он. — Если словник словаря совпадает с интересами читателя, это свидетельствует о каком-то сходстве, культурной и духовной общности. Этот словарь — канон, в рамках которого движется польский интеллигент. Очень может быть, что он не знает всех греческих богов, но как-то они ему там нужны.

### **Шрифт редкостной красоты**

Пять лет спустя после “Словаря мифов и традиций культуры” Копалинский выпустил “Словарь символов”, где, как ни в одном другом из его словарей, отражается его классический склад ума, берущий свои истоки в чтении рационалистов. После этого дистанция сокращается: в 1992 г. у нас в руках оказался “Словарь припоминаний” — труд совершенно оригинальный, возникший из искушения найти путь к словам, которые как раз ускользнули у нас из памяти.

Тогда мы уже были знакомы, и Копалинский мне рассказывал, что он сам такого словаря ни на одном языке не видел, что, разумеется, не значит, будто ничего подобного не существует.

Словарь состоит из трех частей: тропы, множества, сигналы — этими тремя способами Копалинский добирался до человеческой памяти, чтобы отыскать забытые слова. Сам механизм памяти интересовал его издавна, об этом ему случалось писать в своих фельетонах. Например: “Говорят, что старость способствует забыванию, но я не считаю этоо доказанным”. Я спросила его, как обстоит дело с его памятью.

— Память у меня почти что заурядная, — упирался он. Хотя добавил, что это зависит от того, кто как понимает “заурядность”, и решительно опровергал, будто он эрудит.

— Но ты же знаешь наизусть “Польские цветы” Юлиана Тувима.

— Верно, на поэзию моя память работает, но только на такую, какая известна от Гомера до, скажем, Лесьмяна. Такую, которая обладает ритмом и метром. Ведь то, что “Илиада” и “Одиссея” написаны гекзаметром, — это не из какой-то причуды, а по практическим соображениям. А вдобавок добрых 20 процентов текста — устойчивые фразы, чтобы облегчить запоминание.

В 1995 г. он выпустил “Энциклопедию второго пола”, а годом позже — маленький, но полный личного, фельетонного очарования “Словарь эпонимов, или слов от имен собственных”.

В фельетонах Копалинский маскировался, а в словарях — раскрывался. Их чтение действительно очень многое говорит о его вкусах и вкусе. В том числе и в самом буквальном смысле. Пример? Однажды я пригласила его на ужин, и — о, несчастье! — у меня было только красное вино, а он пьет исключительно белое. “Ну что ж, — думаю, — откуда мне было знать?” Однако стоило мне внимательней вчитаться в словарь эпонимов, как оказалось, что я могла бы это предвидеть. О красном вине (бордо) — единственное сухое сообщение, а для белого вина (шабли) автор не щадит эпитетов: “Замечательный вкус, великолепный аромат”.

Он не считал, что лексикограф обязан хранить объективность — наоборот, если чего-то не любил, ругал, а если что-то ему нравилось — не скрывал. “Баскервиль — шрифт редкостной красоты...” — разве эта словарная статья не показывает, как интенсивно было его отношение ко всему, что связано с книгой и печатным словом?

Свыше двух лет Копалинский трудился над “Словарем событий, понятий и легенд XX века”. Я пришла к нему в гости, когда он его заканчивал, а он говорит: “Прости, но я сегодня страшно опечален: кончаю букву В [W], а там сплошные войны”, — и улыбается.

Он любил пошутить, обладал специфическим чувством юмора.

В 2002 г. он выпустил “Лексикон любовных сюжетов”, от которого я была в восторге, что и выразила в рецензии, а еще два года спустя — “125 сказок, чтобы рассказывать детям”, которые у меня восхищения не возбудили, хоть в рецензии я и постаралась это скрыть. Он немножко подождал и говорит: “Твой любимый лексикон никто не хочет переиздать, а сказки,

которые тебе не понравились, расходятся, как горячие пирожки”.

Он никогда не устраивал себе больше двух недель отпуска между одной и другой книгой. Его два последних словаря: “Приключения слов и пословиц” и “От слова к слову” (выходит вскоре) — доказательства его этимологических интересов.

### **Верблюд, то есть лошадь**

Копалинский всегда работал один. У него не было, как сказали бы мы сегодня, ассистентки или хотя бы старомодной секретарши. Он не пользовался не только компьютером, но и пишущей машинкой. Его старые картонные коробки, в которых он держал карточки, так никогда и не были свергнуты с престола.

— Не ты одна удивляешься, что я не пользуюсь компьютером, — сказал он однажды. — Но представь себе, что я хочу *найти* какое-то слово? Сколько времени уходит на запуск компьютера? А сколько — на то, чтобы полезть в коробку? Безумную простоту этого движения ничем лучшим не заменишь.

Тут он наклонился, вынул из ящика стола коробку и через секунду держал в руке несколько карточек. Писал он от руки, старательным разборчивым почерком, сразу начисто, лишь изредка на толстой бумаге были видны следы ластика.

После такого введения я не удивилась, найдя в “Словаре событий, понятий и легенд XX века” эксцентричную и не до конца понятную цитату из американского “Альманаха для фермеров” за 1978 год: “Заблуждаться — дело человеческое, но для воистину гнусных дел необходим компьютер”.

Среди своих предшественников-лексикографов Копалинский особенно почитал двух — так случайно сложилось — тёзок: Самуэля Линде и Сэмюэла Джонсона.

Его восхищало, что автор изданного в 1807–1814 гг. “Словаря польского языка” Самуэль Богумил Линде не только сам составлял словарные статьи, держал корректуру, находил подписчиков и отыскивал средства — и все это во время военной бури, катившейся по всей Европе, — но еще и лично собирал книги, чтобы делать из них выписки.

Рассказывая о Линде с блеском в глазах, Копалинский отослал меня к шестому тому его словаря, чтобы я прочла, как он бился с монахами по монастырским библиотекам. А Линде

действительно не останавливался ни перед чем, когда же не было другого выхода (“у бернардинцев (...) ни убеждения, ни деньги, ни обмен, ни дубликаты, ни угрозы ничему не помогут; разве что взять их за шиворот, а монахи толстые и откормленные”), то за спиной у братии... “тибрил” (“Чудом удалось мне стибрить Гурницкого разговор вора с чёртом ин-кварти и еще три других лакомых кусочка...”).

И “Словарь английского языка” Сэмюэла Джонсона — труд одного человека. Копалинский рассказывал мне, как Джонсон, когда его спросили, успеет ли он закончить работу за три года, если сорок членов Французской Академии составляли подобный словарь сорок лет, ответил: “Ну посчитаем: сорок на сорок — 1600. Я сумею сделать то же самое за три года. 3:1600 — вот отношение ценности француза к англичанину”.

Свою нелюбовь к коллективной работе Копалинский формулировал, может быть, не так язвительно, как Джонсон, но столь же недвусмысленно.

— Говорил ли я тебе, что такое верблюд? — спросил он меня. — Так вот, верблюд — это лошадь после обсуждения на заседании комитета. Вся разница между словарем, составляемым коллективно, и словарем, который составляет один человек, состоит в том, что комитет всё приведет к единообразию, пройдет утюгом, сгладит различия. Именно для того, чтобы словарь выглядел иначе, я делаю всё сам, без комитетов и редакций. А редактор, который читает мою книгу, должен привыкнуть к моему стилю, должен научиться не заносить на него руку.

Он был настолько самодостаточен, что когда ему для словаря эпонимов требовалось, например, “клерихью” [от второго имени английского писателя Эдмунда Клерихью Бентли (1875–1956), друга Честертона], комическое четверостишие, представляющее собой т.н. безосновательную биографию, то сочинял его сам: “Говорят про пана Монюшко, / Что он волю Божью держал под подушкой, / Отличаясь в детстве смекалкой, / Он швырялся в графиню галькой”.

Время от времени Копалинский произносил передо мной самые возвышенные похвалы Станиславу Баранчаку, которого считал достойным наследником Тувима на ниве поэзии абсурда. Сам он знал много смешных стишков, и мы, перебивая друг друга, декламировали лимерики или шуточные эпитафии. Он был болельщиком моего цикла “литературных игр”, который я когда-то вела в “Магазине Газеты выборчей”, и знал множество анекдотов на эту тему. Однажды, когда я писала о

травестациях, он рассказал мне, что Кароль Эстрейхер, библиограф, директор Ягеллонской библиотеки, написал на день рождения сына четверостишие, в котором обыграл имя сына — Тадеуш, — заканчивая стишок словами о том, что было три Тадеуша: Рейтан, Чацкий [выдающийся польский просветитель (1765-1813)] и Костюшко. И прибавил, что для собственного удовольствия занялся травестацией этого стишка. После этого он вручил мне слегка пожелтевшую машинопись. Его стишок заканчивался словами о том, что три было Самуила: пророк, Джонсон и Твардовский [польский поэт (1600-1661)].

### **Чутьочку поперетруждаться**

К числу любимых книг Копалинского принадлежала толстенная (две тысячи страниц) “Жизнь Сэмюэла Джонсона” Джеймса Босвелла, который был собеседником лексикографа, переписывался с ним и всё старательно записывал. Даже в сокращенном до одной пятой объема польском переводе видно, какой выдающейся личностью был Джонсон: эрудиция, интеллект, чувство юмора, быстрота мысли, оригинальность взглядов, чудесные бонмо, роскошные диалоги. Я читала о Джонсоне, а думала о Копалинском. “Я так и не сумел разгадать загадку, когда же он находил время на творение новых своих трудов, — писал Босвелл. — Целое утро он обычно рассуждал, потом шел в трактир обедать и просиживал там долго. Затем шел в гости к кому-нибудь из друзей и пил чай, а после целыми часами убивал время. Думаю, что ему случалось читать и писать только по ночам...”

Копалинский, правда, вел не такой образ жизни, как его великий предшественник (который табуретку в трактире считал “троном человеческого счастья”), но тоже был человеком компанейским, охотно знакомился с новыми людьми, любил посидеть с друзьями. И тоже не очень-то известно, когда он работал.

— Я работаю два, самое большее три часа в день: я же должен еще и спать, есть, гулять, встречаться с людьми... — объяснял он. — Другое дело, что иногда трудно отделить, когда я работаю, а когда нет, потому что, допустим, читаю “Политику” или “Газету выборчу” и попадается мне что-то такое, что побуждает составить словарную статью. Тогда я сразу записываю это на карточку и кладу в коробку. На том-то и основана работа над словарем, что каждый день какую-то карточку добавляешь.

Джонсон говаривал, что обладает истинным призванием к ничегонеделанию, и — “никто не должен делать столько, сколько может”. Совершенно как Копалинский, который — приведем цитату из его единственного интервью, которое он дал много лет назад Кристине Настулянке из “Политики”, — признался: “Я работаю от страха перед собственной ленью и из желания преодолеть ее”.

Однако, когда я ему сказала, что он, пожалуй, не такой уж страшный лодырь, раз сочинил для определения труда лексикографа слово “перетрудяга”, — он ответил: “Можно перетруждаться чуточку”.

### **Павлиний хвост фактов**

— Вся прелесть авторского словаря, — говорил мне Копалинский, — в том и состоит, что он отвечает интересам, ассоциациям, образованию и вкусу одного человека. Многим читателям как раз нравится иметь дело с личностью из крови и плоти, с индивидуальностью. Так, например, у Джонсона встречаются словарные статьи, вытекающие из его фантазий, убеждений, из оригинальных и иногда крайне личных взглядов. То же самое Эбенезер Кобхем Бруэр, составитель полутора десятков английских словарей в XIX веке. Обращаешься к нему за каким-нибудь словом, а он тебе улыбается, выдает шуточку. Его словарь “The Dictionary of Phrase and Fable” — это как будто прадедушка “Словаря мифов и традиций культуры”.

Словари, по мнению Копалинского, должны быть забавными и для того, кто их составляет, и для того, кто ими пользуется.

— Разные люди говорили мне, что мои словарные статьи — другие. Эта забава в том и состоит, что надо сухому типу прозы придать какую-то видимость жизни. Самое главное — чтобы словарь обладал какими-то человеческими, личными чертами. Сейчас приведу тебе пример.

Он прошелся взглядом по комнате, взял какую-то книгу и прочитал:

— “„Тихая ночь, святая ночь”. Начало коляды 1918 года. Песня на музыку Франца Грубера”. Еще даты рождения и смерти. И конец информации.

После чего взял “Словарь мифов и традиций культуры” и прочитал: “Самая знаменитая в мире коляда. Сочинена в Сочельник 1918 года в Оберндорфе под Зальцбургом; слова —

священник Йозеф Мор, музыка — органист Франц Ксавье Грубер”.

— Читаешь это и представляешь себе ночь под Рождество в деревне, покрытой снегом, и этих двух людей без семьи — священника и органиста. Видно, они праздновали только вдвоем, прислуга разошлась по домам, к родным. Они уже поужинали, сидят в этой полной тишине, и вдруг священник говорит органисту: “Знаете что, а может, нам сочинить какую-нибудь коляду? Вы же музыкант, да и я проповеди пописываю”. И вот из этого возникает самая знаменитая в мире коляда. Всё это можно вычитать из того, что у меня написано, а из того словаря не вычитаешь. Там, правда, приведены факты, но без этого павлиньего хвоста.

Этот павлиний хвост фактов Копалинский простирает и в своем последнем словаре, который сейчас готовит к печати издательство “Ритм”. Как в любом из его словарей, мы и здесь находим личные акценты. С настоящим волнением прочитала я в статье “геронтология — гериатрия”: “Психологи утверждают, что старики чаще, чем молодежь, склонны к догматическому, неповоротливому мышлению. Однако все мы знаем, что существует множество исключений”. Таким исключением был Копалинский. Он до конца сохранил юношеский дух, живой ум, хорошее настроение, любопытство к миру и людям.

## ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• “Макроэкономические данные за восемь кварталов правления „Права и справедливости” (ПиС) превосходны. Средний квартальный рост ВВП превысил 6%, средняя зарплата в национальной экономике между третьим кварталом 2005 и вторым кварталом 2007 г. выросла с 2347 до 2644 злотых, уровень безработицы снизился с 17,6 до 12,2%, а инфляция осталась на неизменном уровне. В 2006 г. бюджетный дефицит составил 25 млрд. злотых (на 5 млрд. меньше, чем было запланировано), а в 2007 г. будет еще ниже (...) Загвоздка в том, что большая часть макроэкономических данных реагирует на изменения в экономической политике по меньшей мере с годичным опозданием (зато ухудшить экономическую ситуацию политики могут очень быстро, из чего можно сделать вывод, что ПиС по крайней мере ничего не испортил) (...) Наша экономика влилась в структуры европейской и реагирует на импульсы международного рынка в большей степени, чем внутреннего”. (Михал Зелинский, “Впрост”, 23 сент.)

• “Эксперты Общества польских экономистов, Гражданского форума развития (...) и Форума развития экономического образования подготовили (...) отчет о состоянии польской экономики. Выводы: благоприятная экономическая ситуация — не заслуга правительства (...) Оживление началось еще в 2003 году (...) На протяжении последних двух лет экономическая политика не влияла на показатели польской экономики (...) Быстрым ростом мы обязаны главным образом вступлению в Евросоюз, благоприятной конъюнктуре в мировой экономике, реструктуризации предприятий после российского кризиса 1999 года, а также значительному снижению инфляции и процентных ставок (...) На горизонте постепенно начинают сгущаться тучи. Слишком быстро растут зарплаты и долги по кредитам. Внутренний спрос растет быстрее, чем ВВП, что может привести к росту инфляции”. (“Газета wyborча”, 20 сент.)

• “Вопреки просьбам вице-премьера Зиты Гилёвской, Сенат [прошлого созыва] одобрил принятые на последнем заседании Сейма законы, которые обойдутся казне более чем в 5 млрд. злотых (речь идет прежде всего о высоких налоговых льготах на



детей). В проекте бюджета на будущий год эти расходы пока что не предусмотрены. Зато правительство предполагает экономический рост на уровне 5,5% ВВП и уменьшение бюджетного дефицита до 28 млрд. злотых”. (“Тыгодник повсехный”, 23 сент.)

- “Резко увеличился поток средств, присылаемых в Польшу эмигрантами. В 2003 г. (последнем перед открытием для поляков некоторых европейских рынков труда) эмигранты перевели домой около 3 млрд. евро, т.е. 12 млрд. злотых. В прошлом году эта сумма была уже в два раза выше. В середине текущего года поступления из-за границы превысили 3,2 млрд. евро, что, учитывая их традиционный рост во втором полугодии, позволяет ожидать годовой суммы порядка 8 млрд. евро, т.е. около 30 млрд. злотых. Это больше половины объема прошлогодних (рекордных!) прямых иностранных инвестиций в Польшу и в два раза больше, чем приток субсидий из ЕС (...) Деньги, присылаемые эмигрантами, стали вторым (после иностранных инвестиций) источником финансирования нашей экономики”. (Сильвия Чубковская, Милош Венглевский, “Ньюсуик-Польша”, 14 окт.)

- “Поляки перестали относиться к работе как к неизбежному злу. Наоборот, работа стала самостоятельной ценностью. Согласно последнему опросу ЦИОМа, целых три четверти из нас идут работать с удовольствием, а 42% охотно находятся на рабочем месте больше восьми часов”. (“Дзенник”, 21 сент.)

- “По данным ГСУ, в августе объем розничных продаж был на 17,4% больше, чем год назад. Это почти на один процентный пункт больше, чем предполагали экономисты (...) Зарплаты растут быстрее, чем производительность труда (...) В августе уровень безработицы снизился с 12,2 до 12%. В июле в Польше было 1,82 млн. безработных”. (“Дзенник”, 26 сент.)

- “В крупных городах безработица исчезает. В августе уровень безработицы опустился ниже 4% в четырех городах: Сопоте, Варшаве, Познани и Гдыне. Сейчас в метрополиях остается лишь т.н. естественная безработица”. (“Жечпосполита”, 1 окт.)

- “Каждый второй поляк, берущий ипотечный кредит, тратит больше половины своих доходов на оплату счетов и месячных взносов. По оценкам консалтинговой сети „AZ Finanse”, большинство поляков не имеет сбережений и, лишившись работы, стало бы неплатежеспособным в течение нескольких месяцев (...) Мы уже должны банкам по меньшей мере 106 млрд. злотых — на 30 миллиардов больше, чем в начале года. В июле и августе наши долги по кредитам росли в небывалом прежде

темпе — на 5 млрд. зл. в месяц! Это происходило несмотря на растущие процентные ставки (...) Комиссия банковского надзора подумывает о введении дополнительных ограничений”. (“Газета wyborcza”, 28 сент.)

- “Несмотря на выгодные для фирм дополнения в Гражданский кодекс, Польша продолжает оставаться страной, не слишком благосклонной к предпринимателям. Такой вывод можно сделать на основании рейтинга Всемирного банка. Хотя Польша и поднялась на одну позицию, заняв 74-е место, на фоне других государств региона мы смотримся плохо. Другие страны Восточной Европы сосредотачиваются на снижении налогов, упрощении формальностей при создании новых фирм, а также на административных реформах. Нам этого по-прежнему не хватает”. (“Жечпосполита”, 27 сент.)

- “С 26 по 29 июня 2007 года в Варшаве проходила Экономическая выставка Белоруссии, в которой приняли участие более ста белорусских предприятий (...) Подписаны контракты на поставку белорусских тракторов, стеклянных изделий, алкогольных напитков (...) За последние годы торговый оборот между Польшей и Белоруссией увеличился в четыре раза и составил 2 млрд. долларов (...) В прошлом году объем польских инвестиций в Белоруссии удвоился и достиг 60 млн. долларов”. (“Пшеглэнд православный”, август)

- “Вчера в Гродно милиция задержала и арестовала председателя Союза поляков Беларуси Анжелику Борис (...) Милиция отобрала у нее паспорт и обвинила в использовании нецензурных выражений”. (“Газета wyborcza”, 11 окт.)

- “Вчера руководители Польши, Украины, Литвы, Азербайджана и Грузии подписали договор о сотрудничестве. Фирмы этих стран войдут в компанию „Сарматия”, которая займется строительством нефтепровода Одесса—Броды—Гданьск (...) В вильнюсском саммите приняли участие президенты Польши — Лех Качинский, Литвы — Валдас Адамкус, Украины — Виктор Ющенко, Азербайджана — Ильхам Алиев и Грузии — Михаил Саакашвили (...) Азербайджанский лидер заверил, что его страна будет поставлять нефть для нового трубопровода. Тем самым в украинско-польскую компанию „Сарматия” вошли три новых пайщика — фирмы из Азербайджана, Грузии и Литвы (...) Речь идет об участке от Бродов до Адамова [длиной около 400 км]. Остальные участки (от Одессы до Бродов и от Адамова до Гданьска) уже построены. В Одессу нефть будут доставлять танкеры. Основной вопрос — обеспечение поставок каспийской нефти. Поэтому решающее значение имеет участие

в „Сарматии” азербайджанской национальной компании SOCAR”. („Жечпосполита”, 11 окт.)

- “После мяса, овощей и фруктов пришел черед польской рыбной муки — со вчерашнего дня ее ввоз в Россию запрещен. Москва ввела запрет на ее импорт, обвинив наших производителей в подделке продуктов, экспортируемых на восток”. („Дзенник”, 4 окт.)

- “Из-за плохого урожая (худшего за последние 17 лет) производителей замороженных фруктов ждет трудный год. В среднем урожай фруктов был в два раза меньше, чем в прошлом году. Это отразилось на их цене — фрукты подорожали на 60-100%”. („Дзенник”, 5 окт.)

- “Чтобы ограничить дефицит зерна, Евросоюз решил засеять целину и отменить таможенные барьеры. Польше тоже грозит нехватка зерна, а цены на хлебобулочные изделия за год поднялись уже на 20% (...) Несмотря на хороший урожай цены на муку и хлеб будут и дальше расти (...) Мы экспортируем все больше пшеницы и, вероятно, вскоре будем вынуждены ее импортировать — как остальные страны-члены ЕС”. („Жечпосполита”, 28 сент.)

- “По данным ГСУ, во втором квартале этого года гектар пахотных земель в расчетах между крестьянами стоил в среднем 12,6 тыс. злотых — на целых 35% больше, чем в тот же период прошлого года. Дороже всего стоит земля в Великопольском воеводстве. В этом году гектар хорошей земли стоил там свыше 30 тыс. злотых — на 20 тыс. больше, чем, к примеру, в Западнопоморском”. („Дзенник”, 21 сент.)

- “Европейская комиссия пришла к выводу, что треска в Балтийском море может вскоре исчезнуть, и несколько недель назад запретила ловить эту рыбу до конца года (...) Министр морского хозяйства Марек Гробарчик решил убедить комиссию, что, запрещая лов, она исходила из ошибочных данных. Когда замдиректора подчиненного министерству Института морского рыболовства попытался объяснить министру, что Еврокомиссия права и треске действительно грозит исчезновение, ему пришлось расстаться с должностью (...) Наши рыболовные суда выловили уже в три раза больше трески, чем предусматривает годовая квота для Польши. Несмотря на запрет часть польских судов продолжает выходить в море и возвращаться с треской (...) Вчера комиссар ЕС по рыболовству и морским делам Джо Борг предупредил: если правительство не проследит за выполнением запрета, Еврокомиссия может передать дело в Европейский суд

справедливости (...) До сих пор в ЕС еще никто так явно не игнорировал запрет на лов”. (“Газета wyborcza”, 27 сент.)

- “„Популяция трески в восточной части Балтийского моря находится на грани катастрофы”, — говорится в отчете международной экологической организации „World Wildlife Fund” (...) По оценкам экологов, четыре пятых всех квот на вылов в акваториях ЕС установлены на уровне, недостаточном для биологического воспроизводства вида”. (“Жечпосполита”, 4 окт.)

- “Вчера Европейская комиссия утвердила крупнейший в истории Польши план по выделению помощи (...) и одобрила программу „Инфраструктура и окружающая среда”, соглашаясь тем самым выделить нам дотации на строительство дорог, ремонт железных дорог и инвестиции в энергетику. Благодаря этому до 2015 г. мы получим 27,8 млрд. евро, т.е. 100 млрд. злотых. Таких денег на инвестиции у нас еще никогда не было. В течение восьми лет за брюссельские евро должны быть построены почти 2 тыс. км автострад и скоростных дорог (...) газопорт, трубопроводы, очистные станции и мусоросжигательные заводы. В общей сложности (...) более 230 инвестиций”. (“Газета wyborcza”, 20 сент.)

- “Согласно отчету Европейской комиссии, до сих пор мы потратили лишь 16% средств, выделенных нам некоторое время назад на строительство автострад. Это худший результат среди новых членов ЕС”. (“Газета wyborcza”, 25 сент.)

- Нехоже близ Жешува: “В апреле 2007 г. (...) здесь была создана гостиница для собак „Пёсиково”. Одновременно там могут находиться... четыре собаки. Хозяйка гостиницы Ядвига Вятр получила на ее обустройство из ЕС 16 тыс. злотых”. (“Впрост”, 30 сент.)

- Министр иностранных дел Анна Фотыга: “Польша считает „недействительным и не имевшим места” вчерашнее решение Совета Европы о провозглашении 10 октября Европейским днем против смертной казни”. (“Газета wyborcza”, 28 сент.)

- “Впервые за последние годы противников смертной казни больше, чем сторонников. Против восстановления смертной казни выступают больше половины поляков (52%). Эксперты говорят о европеизации взглядов польского общества”. (“Жечпосполита”, 21 сент.)

- “„Можно сказать, что по конституционному соглашению ЕС мы в общих чертах договорились. Это огромный успех”, —

сказал президент Лех Качинский после вчерашней беседы с президентом Франции Николя Саркози (...) Два президента говорили вчера в Париже о приближающемся лиссабонском саммите”. (“Дзенник”, 9 окт.)

• “Германия поддержит требования Польши на переговорах по новому конституционному соглашению (...) Сегодняшний визит президента Леха Качинского в Берлин (...) сводится к полуторачасовой беседе в ведомстве канцлера (...) Ангела Меркель хочет также поддержать требование предоставить Польше должность постоянного генерального адвоката Европейского суда справедливости, оказывающего влияние на его решения. Сейчас эту должность постоянно занимают только представители пяти крупнейших стран ЕС”. (“Дзенник”, 12 окт.)

• “Решением Европейского суда по правам человека [польское] правительство выплатит Алиции Тысёнц 25 тыс. евро за то, что она не могла прервать беременность, грозившую ей ухудшением зрения [Теперь она должна носить очки со стеклами 25 диоптрий. — Ред.] (...) Кроме того, приговор предписывает правительству изменить процедуры, связанные с абортами”. (“Жечпосполита”, 26 сент.)

• Из письма председателя Международного освенцимского комитета Ноа Флюга председателю Европейского парламента Гансу-Герту Поттерингу и председателю Европейской комиссии Жозе Мануэлю Баррозу: “Отец Рыдзык и радио „Мария” воспринимаются в Европе как символы продолжающегося и все более агрессивного антисемитизма”. (“Жечпосполита”, 20 сент.)

• “„Эти люди спасли и нас — от деградации”, — сказала о награжденных президентом Лехом Качинским Праведниках среди народов мира министр Эва Юнчик-Зёмецкая. Церемония награждения 53 человек, спасавших евреев во время войны, прошла вчера в варшавском Большом театре”. (“Газета wyborcza”, 11 окт.)

• “„Нельзя больше терпеть антисемитские выступления польского священника Тадеуша Рыдзыка”, — сказал Папе председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд С. Лаудер. Бенедикт XVI принял вчера в Ватикане представителей нового руководства конгресса”. (“Газета wyborcza”, 9 окт.)

• “На недавней встрече польских епископов кардинал Станислав Дзивиш обратил их внимание на „ответственность за пастырское служение, которое постепенно ускользает из-под

контроля епископов и переходит в другие руки””. (“Тыгодник повшехный”, 7 окт.)

- Маршал Сената Богдан Борусевич: “Отец Рыдзык влияет на назначение послов и членов [правлений] государственных компаний (...) Сейчас эта связь [ПиС с радио “Мария” и о. Рыдзыком] гораздо сильнее, чем два года назад. Это уже не тактический союз, рассчитанный на приобретение и удержание электората, а органическая связь (...) Премьер должен платить отцу Рыдзыку за поддержку”. (“Газета wyborча”, 29–30 сент.)

- “Премьер-министр Ярослав Качинский и митрополит Савва подписали соглашение о создании Совместной группы представителей правительства и Священного синода епископов. Группа станет форумом для решения текущих проблем и защиты интересов православия, подобным созданной при участии католической Церкви Совместной комиссии правительства и Епископата. Число граждан Польши православного вероисповедания оценивается в 500–600 тыс. человек”. (“Политика”, 6 окт.)

- “В Варшаве прошло второе заседание Координационного совета украинского меньшинства при посольстве Украины в Польше. Совет был создан по инициативе посла Украины в Польше в 2006 году”. (“Пшеглэнд православный”, август)

- “По данным белорусской стороны, в течение первых восьми месяцев 2007 г. в Польшу пытались нелегально проникнуть около 200 человек. 40% составляли азиаты и африканцы, остальные были гражданами СНГ. Среди последних преобладают чеченцы и молдаване”. (“Жечпосполита”, 19 сент.)

- “Никто точно не знает, сколько чеченцев проживает в настоящий момент в Польше. По официальным оценкам, их около семи тысяч, но эти данные наверняка занижены. В 1999 г. в Польшу приехало около тысячи чеченцев, а в 2004 м — в семь раз больше. В этом году польскую границу уже пересекли более 4 тысяч чеченцев”. (“Политика”, 22 сент.)

- “Три чеченские девочки умерли от истощения после нелегального перехода украинско-польской границы в Бещадах. Пограничники спасли их мать и двухлетнего брата (...) В 2006 году за нелегальный переход границы были задержаны 229 человек чеченской национальности”. (“Тыгодник повшехный”, 23 сент.)

- “Мария Качинская навестила в больнице чеченку, трое детей которой умерли от истощения в Бещадах. Супруга президента заверила женщину, что польское государство окажет ей всяческую помощь (...) О случившейся трагедии уже оповещена семья в Чечне, которая хочет, чтобы девочки были похоронены на чеченской земле, ибо так велит их религия”.

(“Жечпосполита”, 17 сент.)

- В Быковне под Киевом “польские ученые, разыскивающие могилы польских жертв НКВД, нашли гребешок (...) австрийской фирмы „Matador Garantie” (...) Маленький, длиной около семи сантиметров гребешок часто использовался в армии для вычесывания вшей. С обеих сторон гребешок исписан бисерным почерком (...) Почерк очень красивый, почти каллиграфический. Надписи сделаны иглой или гвоздем (...) За сутки удалось расшифровать только четыре фамилии (...) На гребешке нацарапан целый перечень дат (...) Четыре фамилии принадлежат офицерам и унтер-офицерам Войска Польского (...) В пятницу поляки нашли зубную щетку с надписями „26 декабря 1939” и „На память о тюрьме в Херсоне”. Помимо тюрем НКВД в Харькове и Киеве, в Херсоне тоже расстреливали поляков”. (“Жечпосполита”, 22–23 сент.)

- “В 68 ю годовщину нападения СССР на Польшу президент Лех Качинский посетил Россию (...) Президент почтил память „коварно убитых” в Катынском лесу поляков. „Без советского нападения на Польшу 17 сентября эта трагедия не случилась бы, — подчеркнул Качинский, — (...) однако нынешнее руководство России не несет ответственности за это преступление”. (...) Встречавший польского президента губернатор Виктор Маслов почтил память расстрелянных поляков и назвал Катынь священным местом также для россиян (...) Местные СМИ начали писать о визите за несколько дней до его начала (...) „Все писали, что президент приезжает поклониться убитым полякам, но никто не объяснил, почему он делает это именно 17 сентября”, — констатировала Станислава Афанасьева, директор Польского дома в Смоленске”. (“Жечпосполита”, 18 сент.)

- “Свой визит на катынское кладбище президент начал с его меньшей части, где находятся могилы советских военнопленных, убитых немцами. Только после этого он направился к польским могилам”. (“Дзенник”, 18 сент.)

- “17 сентября в варшавском Большом театре состоялась торжественная премьера фильма „Катынь” в постановке Анджея Вайды. Прибывший на нее президент Лех Качинский

утром того же дня побывал в Катыни”. (“Тыгодник повшехный”, 30 сент.)

• Из интервью Анджея Вайды газете “Московские новости”:  
“МН: „Как получилось, что в сценарии возникла положительная роль советского офицера — майора Попова, которого играет Сергей Гармаш?” Вайда: „Это совершенно правдивая история — только в образе майора Попова воплощены два человека. Один сотрудник НКВД предложил жене польского офицера фиктивный брак: он уходил на финскую войну, а супружество давало шанс на эвакуацию. А другой офицер при обыске спас польку, укрыв ее шинелью. Это было 13 апреля 1940 года, когда в Катынском лесу уже шли расстрелы, а одновременно в этот же день проводились аресты жен и детей находившихся в лагерях польских офицеров””. (“Газета wyborча”, 24 сент.)

• Лех Валенса: “Ельцин доказал, что русский человек, более того, российский политик и даже российский лидер может быть другом Польши и поляков (...) Немного есть в мире людей, которым поляки стольким обязаны. Если таких людей оценивают по достоинству, то чаще всего только после смерти. Так случилось и с Ельциным (...) Это был великий, сильный политик (...) наш друг”. (“Дзенник”, 1 окт.)

• “В пятницу 5 октября Марек Эдельман [кардиохирург, последний оставшийся в живых руководитель восстания в варшавском гетто] стал почетным доктором Лодзинского медицинского университета”. (“Жечпосполита”, 6–7 окт.)

• “Офицер Бюро охраны правительства Бартош Ожеховский погиб, а посол Польши в Ираке генерал Эдвард Петшик был тяжело ранен в Багдаде в результате взрыва мины-ловушки, на которую наехал автомобиль посла, следовавший в польской автоколонне”. (“Тыгодник повшехный”, 14 окт.)

• “Депутат ПиС Томаш Маковский должен вернуть 138 тыс. злотых жилищной надбавки, полученной им в Сейме благодаря фиктивной прописке. После того как СМИ сообщили о настоящем месте жительства депутата, его партия вычеркнула его из списка кандидатов в Сейм”. (“Тыгодник повшехный”, 7 окт.)

• “Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ) задержало с поличным депутата от „Гражданской платформы” (ГП) Беату Савицкую при получении многотысячной взятки. „Платформа” исключила Савицкую из партии, а премьер-министр Качинский опроверг сведения о том, что ее



задержание как-либо связано с предвыборной кампанией”.  
 (“Тыгодник повшехный”, 14 окт.)

• Доктор Гжегож Маковский из Варшавского университета:  
 “Что с того, что 94% поляков считают коррупцию серьезной или очень серьезной проблемой, если на протяжении последних трех-четырёх лет только 15% столкнулись с ней лично (...) а вручить взятку пытались лишь шести процентам (...) Избирателей страшат черными образами взяточников (...) Находясь в непрестанной борьбе, политики поднимают моральную панику, раскручивают спираль общественных страхов и ожиданий (...) С коррупцией надо бороться, укрепляя демократическую систему, а не множа правила, противоречащие конституционному правопорядку”.  
 (“Ньюсуик-Польша”, 30 сент.)

• Бывший министр иностранных дел проф. Владислав Бартошевский (85 лет): “Мне кажется, в основе успеха сегодняшней власти лежит демагогия. Суть демагогии заключается в том, что люди сознательно, безответственно и лживо обещают всё сразу. Нынешний вариант демагогии отличается вдобавок поливанием грязью и агрессивностью в отношении политических противников — настолько беспрецедентными, что я, несмотря на свой преклонный возраст, ничего подобного не припомню”. (“Газета wyborcza”, 29-30 сент.)

• “„Господа политики, чем вы отличаетесь от человека с дубиной?” — вопрошал епископ Келецкий Казимеж Рычан на мессе 23 сентября. Иерарх подчеркнул, что политики, ведущие агрессивную предвыборную кампанию, сеют соблазн”.  
 (“Тыгодник повшехный”, 7 окт.)

• Из интервью с епископом Тадеушем Перонеком: “Политика — это не борьба за власть, а радение об общем благе, которое надо вверять благоразумным людям (...) Методы правоохранительных органов вызывают сомнения (...) Нападения на дома на рассвете, сковывание людей наручниками, аресты профессоров во время международных конгрессов, временное заключение без предъявления обвинений (...) Я никогда не соглашусь с противоречащим Евангелию принципом, гласящим, что цель оправдывает средства (...) Если правоохранительные органы используют прослушку, если один министр записывает на диктофон другого, то до чего же мы докатились? (...) Недопустима и критика исполнительной власти в адрес Конституционного суда. Эти явления расшатывают основы демократии (...) Сторонники отца Рыдзыка должны наконец смириться с тем,

что у нас свобода совести, касающаяся всех конфессий и религий. Они должны увидеть, что мы живем в плюралистическом мире (...) Я не хочу, чтобы мной правили люди, пришедшие к власти благодаря травле противников (...) Некоторые политики утверждают, что их партия ближе всего к Церкви и только они защищают ее интересы. Такие утверждения недопустимы и лживы (...) У некоторых политиков в последнее время заметно какое-то необычайное религиозное рвение — например, они появляются на Ясной Горе в Ченстохове (...) Мне бы хотелось, чтобы мы наконец стали нормальными”. (“Дзенник”, 28 сент.)

- “Пренебрежительное отношение властей к конституции и СМИ, политизация прокуратуры — вот некоторые выводы, представленные в отчете о состоянии польской демократии за последние два года, который обнародует завтра Институт общественных вопросов (...) Эксперты считают, что за два года правления Пис были нарушены основные конституционные свободы (...) Отчет критикует также закон о люстрации и отношение властей к Конституционному суду”. (“Жечпосполита”, 10 окт.)

- Из интервью со Славомиром Мрожеком: “Я вернулся в Польшу уже 12 лет назад. Скажу коротко: с тех пор как я уехал в начале 60 х, здесь ничего не изменилось. Польша — страна очень слабая (...) Просвещенных интеллигентов здесь очень мало, а глядя на нашу предвыборную кампанию, можно сказать, что их число мизерно (...) Поляк любит твердую руку. И это чувствуется. Лучше, чтобы правительство было сильным и стабильным, а что оно там делает — уже не суть важно (...) Я наконец открыл, чего поляки боятся больше всего, — самих себя. И я продолжаю придерживаться этого мнения”. (“Дзенник”, 8 окт.)

- “Ярослав Качинский и Дональд Туск вступили в бескомпромиссную борьбу во время предвыборных теледебатов”. (“Дзенник”, 13-14 окт.)

- Согласно опросу Лаборатории социологических исследований, 47,5% опрошенных признали победителем теледебатов Туска, а 23,7% — Качинского. (“Дзенник”, 13-14 окт.)

- Согласно опросу ГфК “Полония”, Туска признали победителем 67% опрошенных, а Качинского — 33%. “Однако премьер заявил, что победил он, причем однозначно”. (“Жечпосполита”, 13-14 окт.)

- Более ранний опрос ГфК “Полония” показывал, что 44% опрошенных ожидают победы премьера, а в победу Туска верят 39%. (“Жечпосполита”, 13-14 окт.)

- Эрик Мистевич, политический консультант: “В конце концов мы стали свидетелями борьбы гладиаторов (...) Все специалисты по политическому маркетингу обращают внимание на последствия допуска в студию публики, которую никто не контролировал. Это величайшая ошибка Пис в этой кампании”. По мнению Мистевича, именно кричащая публика вывела премьера из состояния равновесия и предрешила его поражение. (“Жечпосполита”, 13-14 окт.)

- “На кладбище „Собачий лес” в подваршавском Конике-Новом похоронено около 4 тыс. животных. Кладбище появилось в 1991 г., и, хотя оно называется „Собачий лес”, на нем хоронят и других животных (...) Люди, приехавшие сюда вчера, говорили, что навещают могилы своих любимцев по случаю зверино́го дня Помино́вения усопших. Этот день отмечают в первое воскресенье октября, после дня св. Франциска, который особенно любил наших братьев меньших”. (Гжегож Мечниковский, “Газета выборча”, 8 окт.)

- “Кто-то умышленно убивает вековое дерево (...) Дерево с табличкой „Памятник природы” растет на частной территории на Пулавской ул. в Варшаве. Ему может быть от 150 до 200 лет. Год назад этот участок огородили: девелопер хочет построить там жилые дома (...) Несколько месяцев назад дуб начал чахнуть. Окрестные жители обнаружили в его стволе просверленные дыры, а вокруг дерева — следы едкой субстанции (...) Они пытались защитить ствол, обложив его сеткой и ветками. „Однако мы сняли всё это, так как знакомый предупредил нас, что кто-то хочет поджечь дерево (...)”, — говорит Барбара Конткевич (...), „Оказалось, что в ствол впрыскивали гербициды, а землю вокруг поливали кислотой (...)”, — говорит пресс-секретарь воеводы Максим Голась. „Эти отверстия свидетельствуют о том, что дерево кто-то профессионально уничтожает. Если никто не придумает, как его защитить (...) дуб погибнет”, — предостерегает доктор Войцех Дмуховский, дендролог из Ботанического сада”. (“Газета выборча”, 3 окт.)

- “Вчера работники морской станции в Хеле выпустили в Балтийское море четырех тюленей (...) „Это наша шестая акция. В общей сложности мы выпустили в море уже 20 тюленей, 14 из которых родились у нас на станции (...) Тюлень — зверь доверчивый и дружелюбный, он не боится людей. Однако случается, что люди отвечают на эту доверчивость тем, что

травят тюленей собаками, тыкают палками и даже поливают пивом. Больше всего нас беспокоит отсутствие эффективного способа защиты тюленей от людей”, — говорит Кшиштоф Скура из Института океанографии Гданьского университета”. (“Газета wyborcza”, 3 окт.)

- Проф. Эва Шимонидес, автор недавно опубликованного учебника “Охрана природы”: “Вместо того чтобы создавать бесконечные списки охраняемых видов, можно попытаться охранять разнообразие биотопов, зная, что тогда в них найдет убежище множество видов. В этом, в частности, заключается концепция европейской сети „Натура-2000”. На территориях, охваченных этой сетью, помимо видов охраняются также различные биотопы, в том числе и такие, к которым прежде в Польше относились несколько пренебрежительно, как к пустошам, — например, материковые песчаные дюны (...) Кроме природных и полуприродных экосистем, мы охраняем также то, что появилось или существует благодаря человеку, например некоторые типы лугов”. (“Политика”, 29 сент.)

- “После непродолжительного пребывания в домике лесника „Пране” на берегу Нидского озера поэт Яцек Напюрковский написал стихотворение „В стране пил”. Он видел и слышал, как вырубают леса. За последние несколько лет в трех лесничествах — Стшалове, Маскулинском и Пише — вырублены сотни гектаров старых лесонасаждений (...) Уже много лет подряд число охотников на Мазурах растет — вероятно, обратно пропорционально популяции дичи. Об этом свидетельствует курьезная фотография из брошюры „Олень в лесничестве Стшалово”, на которой заснята январская добыча 2004 г.: 50 оленей, 24 косули, 25 кабанов, 6 лисиц и 2 енота. Вместе 107 штук (...) Я видел фотографии машин известных политиков, охотившихся в заповеднике Куртыня-Дольная на территории Мазурского пейзажного парка — в зоне, особенно охраняемой из-за гнезд орлана-белохвоста”. (Казимеж Орлось, “Ньюсуик-Польша”, 30 сент.)

- “Мы всё чаще встречаем кабанов еще и потому, что число этих животных быстро растет. В 1995 г. в Польше их была 81 тысяча, в 2006-м — 177 тысяч. Проф. Рышард Дзентёловский из Института лесной зоологии Высшей сельскохозяйственной школы связывает это с потеплением климата, с заселением животными новых территорий вблизи человеческого жилья, где больше пищи, а также с ростом числа кукурузных полей (...) В 1995 г. в Польше было 67,4 тыс. лис, в 2006 году — 218,8 тысячи”. (“Политика”, 29 сент.)

• “Первые в Польше отпугиватели животных установлены вдоль железнодорожных путей в Мазовии (...) УОЖ (устройство, отпугивающее животных) — это целая система, наспигованная электроникой (...) Громкоговорители, расставленные вдоль путей, отпугивают шумом (...) перед появлением поезда. Это естественные звуки, существующие в природе. Профессионалы называют это имитацией ключевых звуков, вызывающих у животных страх (...) Сначала звучит голос сойки — сигнал тревоги. Животные поднимают головы и настораживаются. Потом слышится лай собак. Часть животных отходит от путей. После собак раздаются звуки смерти — предсмертные крики зайца и свиньи. Тогда убегают даже не слишком пугливые лоси (...) Никто не убивал животных специально для получения этих звуков. За деньги, истраченные на один надземный переход для животных, можно построить УОЖ на отрезке длиной 200–400 километров (...) Наше изобретение заинтересовало канадцев и норвежские железные дороги”. (“Газета выборча”, 17 сент.)

• “Американские лесничие из Национального парка Скалистых гор помогут охранять медведей в польской и словацкой частях Татранского национального парка (ТНП) (...) „Особенно нам важно ознакомиться с американским опытом обращения с медведями, которые в поисках пищи все чаще выходят на туристические тропы и приближаются к населенным пунктам, — говорит директор ТНП Павел Скавинский. — Американцы должны помочь нам решить проблему т.н. синантропизации медведей (...) т.е. утраты ими дикости” (...) В Польше медведи находятся под полной охраной. В нашей части Татр их полтора десятка, в Бещадах — около 50 ти, а во всей Польше почти 100. На медведей, живущих в ТНП, надевают телеметрические ошейники, благодаря которым можно отслеживать каждое их движение. Кроме того, горные приюты огорожены электропастухами”. (“Газета выборча”, 24 сент.)

• Эустахий Рыльский: “Из всех литературных героев моих детских и юношеских лет у меня в памяти остались только животные. Но не дурной Козлик Матолек, не львы, ослы, черепахи и газели из деревянных басен Эзопа или инфантильные зайчики-кретины из лихих русских и советских сказок, не трогательный гадкий утенок Андерсена, а звери независимые, изображенные всерьез, без дешевой жалости, в которых заключен весь трагизм бытия. Я имею в виду Серую Волчицу Кервуда, ее сына Бари, мужественных собак из рассказов Лондона, коней, представленных в многочисленных стихах, рассказах и романах...” (“Тыгодник повшехный”, 7 окт.)

# ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОРОК, или ТРУДНЫЙ ВЫСПЯНСКИЙ

Как объяснить иностранцу, никогда не слышавшему о Выспянском, кем был этот необыкновенный человек?

Может быть, проще всего начать с вопроса: что русским не нравится в поляках? Излишняя самоуверенность, “ясновельможность” (как любил говаривать И.В.Сталин), чувство миссии, драчливость, агрессивность в сочетании с нерешительностью.

Во всех этих недостатках Выспянский упрекал поляков сто лет тому назад. И не только в этих, но во многих-многих других.

Выспянский, несомненно гений, и гений многогранный — поэт, драматург и сценограф, художник, мастер рисунка, теоретик театра, — находился, по сути дела, в состоянии непрерывного спора с Польшей и польскостью.

Правда, Польши в то время не существовало на карте Европы, а три разделивших страну захватчика делали всё возможное, чтобы искоренить в обществе самую мысль о суверенном, независимом отечестве, но спор о том, как должен себя вести настоящий польский патриот и к чему стремиться, никогда не прекращался.

Дать ответ на вопрос, почему столь тяжкая судьба выпала на долю нашего народа, объяснить, почему Польшу — долгие годы прожившую здоровой, демократической, многонациональной республикой, — в итоге разделили между собой соседи, пытались многие пишущие и думающие на этом языке авторы.

Однако никому, кроме Выспянского, не удалось так глубоко проникнуть в суть той болезни, которая поразила поляков.

Этот измученный сифилисом, страдавший неврастенией житель Кракова, женатый на крестьянке, которая родила ему троих детей и мало понимала, чем занят ее муж, дал самое точное, самое критическое, великолепное с художественной точки зрения описание патологических метаний, сопутствовавших утрате независимости.

Он высказывался с такой смелостью и самобытностью, что в истории мировой литературы сложно отыскать имя,

поддающееся хотя бы приблизительному сравнению с ним.

Мицкевича мы можем назвать польским Пушкиным, Сенкевича — польским Александром Дюма, творчество Милоша сопоставимо с творчеством Элиота, а поэзия Збигнева Херберта — с произведениями Борхеса, и при всех различиях подобные сравнения содержали бы в себе некоторую долю истины.

Исключительность творчества Выспянского, особенно самых выдающихся его драматических произведений, таких как “Свадьба” или “Освобождение”, позволяют лишь объяснять, объяснять и объяснять... но всё же иностранцу будет очень нелегко разобраться в сложном сочетании страсти, критицизма и поэзии.

Вот деревенская изба — приятель-художник женится на простой девушке, поэтому на свадьбе все вместе: и “господа”, и “народ”. Пьют, дерутся, флиртуют... Как это обычно бывает на свадьбах. Но... все говорят стихами, некоторым героям являются призраки и духи, а в конце действия все впадают в транс, их можно расколдовать, только отняв косы, что и советует сделать играющий на скрипке розовый куст, укутанный в солому. С творчеством какого же автора можно сравнить эту драму? Ибсена? Метерлинка? Шекспира?

А “Освобождение”? Дело происходит в театре. Конрад, герой, “одолженный” у Мицкевича, ведет диалог с какими-то таинственными масками, у каждой из которых свой взгляд на общество, а ремарки — для пущей странности — написаны стихами!

Подобная расточительность в распоряжении своим талантом встречается не так часто.

Подобная смелость в незамедлительном решении — как из обыденности перейти к рафинированной, стройной эстетической форме — вызывает восхищение и вместе с тем обескураживает. В 99,99 случаев из ста попытки такого рода заканчиваются жалкой, графоманской псевдопоэзией.

А Выспянскому удавалось всё. Всё, кроме жизни. Он умер в возрасте 37 лет, измученный болезнью, сражавшийся до последнего мгновения.

Чтобы создавать свои невероятной красоты рисунки, он за год до смерти привязывал карандаш к дощечке, которая поддерживала гниющую руку.

Вероятно, работая в Париже в мастерской, одолженной у Гогена, где он писал с позировавших когда-то Гогену моделей, Выспанский заразился болезнью, перед которой медицина того времени была бессильна.

Перед поездкой в Париж, сидя в литературном кафе в Кракове среди своих друзей, он рисовал их портреты.

Он написал портреты около двадцати представителей своего поколения, так называемой “Молодой Польши”. Вернувшись спустя несколько лет и присмотревшись к своим краковским друзьям, он пригласил их на встречу. Каждому из них он отдал его портрет, а на вопрос, зачем он это делает, объяснил: “Мне казалось, что я создаю коллекцию портретов выдающихся людей. К сожалению, это оказалось не так. Зачем же мне коллекция портретов обычных людей?”

Неприятно, не правда ли?

Он был саркастичным, ироничным, насмешничающим, эгоцентричным, требовательным, убежденным в своей правоте, и у него был невероятный дар: он умел проникновенно, метко и красиво говорить, писать, заниматься рисунком и живописью.

Один хорошо знавший его человек сказал: “У него болят все камни Вавеля”.

А другой, много лет изучавший его творчество и жизнь, назвал рассказ о нем: “Орел в курятнике”. А сам он писал о Станчике, легендарном шуте польских королей:

*В бубенцах шута — великий,*

*С глаз долой — совсем велик...*

Выспанский хорошо понимал, насколько необычна и парадоксальна его позиция. Его уважали, им восхищались, его опасались, но мало кто отваживался подружиться с ним, мало кто был вхож в его мастерскую, где он работал над витражами, писал картины и создавал свои необычные драмы, литературные эссе, стихи и поэмы.

За два года до смерти, в 1905 г., его навестил харизматический вождь нарождавшегося социалистического движения Юзеф Пилсудский.

Пилсудскому хотелось создать манифест, призывающий собирать деньги на оружие. Ему хотелось, чтобы Выспанский



подписался под этим документом вместе с другими выдающимися и авторитетными людьми своего времени.

Вместо этого он получил от поэта гимн — воззвание к Святому Духу. Это была молитва о том, чтобы народ стал способен на деяние. И еще Выспянский предложил: пусть социалистические боевики распространяют созданную им литографию с изображением Матери Божией!

Впрочем, что касается манифеста, то вопрос отпал сам собой, ибо русская революция уже начала клониться к упадку, а сам Пилсудский разочаровался в идее всемирной социалистической революции.

Художник и политик расстались друзьями.

# БУДЬ ПОДОБЕН МЕТЕОРУ, СЛОВНО МОЛНИЯ БЛЕСНИ...

*Выставка в варшавском Национальном музее.*

*9 августа — 14 октября 2007*

2007 год был объявлен Годом Станислава Выспянского: сто лет тому назад художник безвременно скончался в своем родном Кракове. Для многих это событие стало символом конца целой эпохи в польской культуре, эпохи “Молодой Польши”. Каким же должно быть значение художника, если его смерть означала завершение одного из важнейших периодов в культуре? Не так уж много известно художников, и не только польских, имена которых равно знаменательно вписаны и в историю литературы, и в историю изобразительного искусства. Станислав Выспянский несомненно входит в их немногочисленный круг. Уже это превращает каждую выставку его работ в нечто исключительное. Есть и еще одна причина. Из-за нездоровья Выспянский довольно рано отказался от использования масляных красок и стал одним из крупнейших мастеров пастельной живописи. Но выполненные в этой технике работы чрезвычайно сложно хранить, консервировать, а главное, выставлять. Потому-то музеи так неохотно извлекают из запасников его произведения. Наследие Выспянского дошло до нас в сильно ограниченном объеме. Значительная часть его рукописей сгорела во время II Мировой войны в Национальной библиотеке, часть своих работ он уничтожил сам в конце жизни.

Варшавский Национальный музей решил отметить Год Выспянского, впервые в истории полностью показав свое собрание, связанное с личностью художника. Комиссаром выставки была Эльжбета Харазинская, куратор Собрания современного польского искусства. Хотя больше всего работ Станислава Выспянского хранится в краковском Национальном музее, оказалось, что варшавское собрание не менее значительно и содержит много важных и известных произведений искусства. Представление всего собрания дает возможность не только взглянуть в самые интересные работы, но и проникнуть в творческий процесс и проследить пути формирования личности художника. Выставка была разделена на две главные части: на первом этаже были выставлены

главным образом рисунки, наброски, рукописи, фотографии, а на втором — живопись. Кроме того, при участии Анджея Вайды и Кристины Захватович была организована экспозиция, посвященная самым известным инсценировкам и экранизациям двух драм Станислава Выспянского: “Свадьба” и “Ноябрьская ночь”.

Начинать осмотр выставки можно с этюдов детских головок, которые вполне можно принять за рисунки Яна Матейко. Выспянский не столько копирует работы своего учителя, сколько удачно имитирует его стиль. Всё творчество Станислава Выспянского несёт на себе отпечаток искусства Яна Матейко, однако Выспянский, вопреки ожиданиям учителя, не стал преемником крупнейшего польского мастера исторической живописи. Станислав Выспянский стал представителем нового поколения художников. Наряду с национальной миссией он питался новыми достижениями европейского искусства. А где же лучше всего с ними ознакомиться, как не в художественной столице мира? В начале 1890-х Выспянский трижды побывал в Париже. Путешествия упрочили его знания и дополнили образование. С одной стороны, посещая Лувр, он мог восхищаться признанными шедеврами, а с другой — обогащать свое творчество, общаясь со своими современниками, такими мастерами как Поль Гоген или Поль Серузье. С одной стороны, выполненный в академическом стиле обнаженный “Поверженный воин” с тщательно проработанными анатомическими пропорциями. А с другой — наброски натурщиц, изгибающихся в самых разных позах, или набросок маслом, где на обнаженном женском теле вместо традиционной светотени сверкают в ярком свете оттенки голубого, зеленого, фиолетового. Двойственность в процессе формирования молодого художника лучше всего отражают два портрета девочек, выполненные в профиль. Акварельный (1890) написан легко, быстро, в стиле импрессионистов, а небольшой портрет маслом (около 1891) выписан тщательно, традиционно, академически. Выспянский жил между традицией и авангардом. Пребывание молодого художника в Париже отразило и его разорванность между мировой столицей культуры и тоской по родине. Краков в то время был небольшим городом, насчитывавшим около сорока тысяч жителей. В нем, однако, живет прошлое, живет былое величие Польши, а в усыпальницах Вавельского собора покоятся ее короли. Выспянский понимал, что среда, из которой он вышел, довольно провинциальна, однако контактов с родной страной не терял. Для львовского собора он сделал эскиз — неосуществленного, как и многие другие замыслы художника,

— витража “Клятва Яна Казимира — Polonia”. Варшавское собрание его работ украшает выполненная несколько лет спустя авторская копия фрагмента этой композиции, обычно называемая “Caritas” (“Милосердие”), — пленяющее колористикой изображение матери, обнимающей ребенка, в обрамлении цветочных мотивов в стиле модерн. Сравним эти цветы с растениями, которые Выспянский поместил в своем “Гербарии”. Эта тетрадь эскизов возникла в результате его прогулок по лугам в окрестностях Кракова. Вместо декоративного упрощения, обобщения мы наблюдаем здесь ботаническую точность. Художник очень серьезно готовился к каждой своей работе. Приступая к выполнению важного для него замысла иллюстрировать “Илиаду”, он углубился в изучение самых последних археологических открытий, в частности сделанных Генрихом Шлиманом в Микенах, Тиринфе и Трое. Его попытка создать картину мира догомеровской эпохи, резко отличавшуюся от классического взгляда на античность, не встретила понимания. Художник прервал работу — семь из одиннадцати выполненных им рисунков хранятся в варшавском собрании.

В экспозиции верхних залов выставки центральное место занимала композиция “Хохолы” (1898–1899), центральное произведение символизма Станислава Выспянского. Лирический ноктюрн, зимний пейзаж с несколькими деревьями, на втором плане — очертания Вислы и едва заметный силуэт королевской резиденции на Вавеле. В центре — те самые хохолы, странным образом напоминающие своими формами людей. Они поставлены в круг — что приводит на память финальную сцену из важнейшего драматического произведения Станислава Выспянского “Свадьба”, поставленного в 1901 году. В этой пьесе Хохол заколдовал гостей на свадьбе, лишив их сил. Но вместе с тем в нем таится росток усыпленной жизни, надежды на будущее. За каждой зимой приходит весна, за эпохой разделов наступит независимость. Усыпленный народ возродится к новой жизни. На картине вдали поблескивают огоньки надежды. От “Хохолов” мы переходим в центральное пространство выставки, заполненное тревожным синим цветом. Этот сапфировый оттенок почерпнут из знаменитого “Автопортрета” (1894). Такой цвет украшал стены мастерской художника под конец жизни. Цвет, побуждающий фантазию, несущий символическую печать духовности. На одной из синих стен зала размещены эскизы витражей для Вавельского собора. С них взирают на нас польские короли. Смелый замысел художника не встретил понимания у современников. Остались лишь рисунки и воспоминания о том, как далеко вперед забегал взгляд

художника. Другую сторону синего зала заполняют произведения, обеспечившие Выспанскому не только всеобщее признание, но и огромную, непреходящую популярность. Это портреты детей. Мотив этот занимал художника на протяжении всей жизни. Маленький человек — очень трудная модель. Станиславу Выспанскому удавалось передать не только самое сложное, но и самое важное. Детскую чувствительность, невинность, непосредственность. А также откровенность и беззаветность материнской любви к ребенку. Для композиций, получивших название “Материнство”, где изображена женщина с ребенком на руках, позировала жена Выспанского Теофиля. В этих композициях она восхищает нас мягкостью и нежностью. А на отдельном ее портрете мы видим простую крестьянку в цветастом наряде. Ее лицо с резкими суровыми чертами вызывает в памяти “прекрасную Анжелу” с картины Поля Гогена. Но в данном случае источником вдохновения послужила не далекая Бретань, а деревня под Краковом. Мещанский Краков не в состоянии был понять этот союз между необразованной женщиной и утонченным художником. На выставке Теофиля с портрета словно смотрела на изображение своего мужа — на второй из его знаменитых автопортретов (1902). Здесь художник изобразил себя в спроектированной им самим раме с орнаментом в стиле Возрождения. Он равняется здесь с великими мастерами той эпохи, будто знает, что размах его таланта и художественных замыслов только с теми временами и можно сравнить. За его спиной мы видим иссохшие стебли растений, написанные в стиле модерн. У художника уже не оставалось времени на осуществление своих замыслов. Собственно всю свою художественную жизнь он понимал, как короток его срок. И еще портреты. И те, нарисованные совершенной, выразительной линией в одном из краковских кафе, и те из другой, несколько позднейшей серии, где он собирался изобразить знаменитых жителей своего родного города. Их должно было быть сто, написано было полтора десятка, а сохранилось и того меньше. На сей раз осуществить замысел не позволило не только ухудшавшееся здоровье, но еще и надоевшая ему монотонность мужской одежды.

Завершало варшавскую выставку обращение к самому значительному изобразительному замыслу Выспанского, крупнейшему не только по своей цельности, но и по своему масштабу, размерам. Из задуманных монументальных проектов оформления интерьеров художнику удалось частично создать фрески и витражи для краковского костела францисканцев. В Варшаве находится, хотя и весьма плохо сохранившийся, эскиз на картоне, изображающий святого

Франциска. В конце жизни Станислав Выспянский серьезно болел, он даже не мог выйти из дому. Но оставалось ясным его сознание, и, самое главное, до конца сохранялось его желание творить. В 1904–1905 гг. он написал цикл пастелей “Вид из окна мастерской художника на курган Костюшко”. Идею увековечить меняющийся в зависимости от времени года пейзаж, бывший у художника “под рукой”, подсказал ему его друг, известный коллекционер Феликс Ясенский. Он же заметил сходство со знаменитой серией Клода Моне “Руанский собор”. Французский импрессионист в своем цикле сосредоточил внимание на меняющемся цвете и освещении в разное время дня. Выспянский показал гораздо больше — не только меняющуюся природу. В варшавском собрании хранятся прекрасные работы из этой серии, в которых без труда прочитывается символический смысл. Цикл вегетации, умирания и возрождения природы, круговорот жизни — весьма популярный мотив как в живописи конца XIX века, так и в литературе того времени. Дорога, исчезающая на горизонте, может быть воспринята и как исторический путь поляков. Фоном служит курган Костюшко, рядом с ним столь охотно изображаемый Выспянским Вавель — национальный символ. А может быть, это жизненный путь человека? Может, путь самого Выспянского, исчезающий где-то за горизонтом? Неумолимо приближающийся к концу?

## ПРОНИКНУТЬ В СКАЗКУ МОДЕРНА

Художники польского рубежа веков до обидного мало известны в России. Исследователь, знакомящий с неизвестным материалом, может пойти двумя путями. Один — дать панораму художественной жизни, как можно более яркую ее палитру. То есть попытаться обозначить дух времени и вместе с тем дать читателю почувствовать всё разнообразие его противоречивых воплощений, надеясь, что сам он потом как-нибудь проявит достаточное любопытство по отношению к особенно заинтриговавшим его явлениям. Второй путь — показать “верхушку айсберга”, подать крупным планом самые важные художественные индивидуальности и уже через них раскрыть и дух времени, и его противоречивость. Второй путь и избрала Лариса Ивановна Тананаева, ознакомив русского читателя с тремя героями польского модерна: Станиславом Выспанским<sup>[1]</sup>, Юзефом Мехоффером, Яцеком Мальчевским. Может, в этом ряду не хватает сопоставимого по значению Витольда Войткевича (вспомним, что в свое время Веслав Ющак именно этого художника выделил в своей книге “Витольд Войткевич и новое искусство”, и, присоедини его Тананаева к своей триаде, Мальчевский оказался бы не одинок в своем предвозвещении гротеска XX века). Нет сомнения, однако, что выбор “персонажей” значителен и глубоко обоснован. (А на мой субъективный вздох относительно Войткевича автор наверняка ответила бы, что тот — художник уж слишком переходной, уже слишком, с одной стороны, пост-, а с другой стороны — пред-.)

Только в случае Выспанского такой “крупный план” польских художников рубежа веков имел свой прецедент — переводную книгу Алиции Оконской, вышедшую в серии “Жизнь в искусстве” (М., 1977). Та книга, однако, прежде всего была биографией — Тананаева же видит свою задачу совсем в другом. Успевая дать колоритный облик каждого из своих героев во вступлении к каждому из трех очерков, в дальнейшем она сосредотачивается на типологическом описании их наследия. И оказывается: жили в одно и то же время, порой — как Выспанский и Мехоффер — были соединены узами дружбы и сотрудничества; казалось бы, находились под влиянием одних и тех же вдохновляющих сил — или под действием

одного и того же натиска... И все же не столько в них проявился общий “дух времени”, сколько они сами, суммой своих индивидуальностей, во многом его определили.

Как молниями пронизаны главы о витражах, пейзажах или портретах названиями одних и тех же городов, художественных школ, одних и тех же костелов, именами одних и тех же людей. Марьяцкий костел в Кракове, где Ян Матейко поручил работу над многими деталями росписей своим лучшим ученикам Выспяньскому и Мехофферу и где, видимо, родилась присущая обоим мечта о новом большом стиле. Кафедральный собор на Вавеле, осознаваемый ими обоими как место, где память о национальной истории должна не просто храниться, а осмысляться и переосмысляться... Этой концепции, однако, придерживались далеко не все. То и дело, например, появляется имя графа Ланцкоронского, приветствующего отказ церковных властей от осуществления на Вавеле витражных планов Выспянского и требующего изгнать оттуда и другого сторонника нововведений — Мехоффера, уже начавшего оформлять Скарбец, центральную сокровищницу собора. В главе же о Мальчевском — все тот же граф Ланцкоронский, но в роли покровителя, мецената и заказчика. Однако вряд ли именно поэтому Мальчевский не посягал на росписи и витражи, ограничившись лишь станковой живописью, — в конце концов и он создал свой монументальный стиль, инсценируя истории внутреннего “я” в величественном пленэрном театре. Этот театр раскинулся на равнинах и холмах, куда, как *deus ex machina*, спускались в его картинах ангелы, химеры, персонификации смерти (Танатос).

На, пожалуй, самом знаменитом полотне Мальчевского — “Меланхолии” (1894) — вихрь фигур, вырывающихся с мольберта художника, расположенного в глубине картины, наполняет всё пространство большой мастерской и как бы разбивается о невидимую преграду; в открытом окне мы видим женщину в траурных одеждах, что стоит, опершись на это окно и отвернувшись от всего зрелища. Она, видимо, и персонифицирует Меланхолию, и невидимая преграда связана именно с ней. В другой написанной приблизительно в то же время картине — “Заколдованном круге” (1895-1897) — порожденные воображением фигуры не просто “не находят выхода”, а как бы возвращаются к (чуть было не) воплотившему их художнику, сидящему на высоком треножнике в центре. Автор книги справедливо приписывает этим двум картинам поворотное значение в творчестве Мальчевского и уделяет им особое внимание. Справедливо и то, что, имея в виду российского читателя, Тананаева



подчеркивает прежде всего польские подтексты “Меланхолии”, вспоминая и о позитивистском лозунге “работы у основ”, так сказать, подготовке почвы — лозунге, долженствовавшем смирить все романтические порывы, с чем поколение Мальчевского уже не хотело соглашаться. Однако, поскольку и сама Лариса Тананаева не раз замечает, что истолкования как этих двух, так и других символистских полотен Мальчевского могут быть бесчисленны, позволю себе то, которое подсказывает контекст ее же книги.

А именно: после стольких проникновенных страниц, которые автор посвящает нелегкой судьбе монументальных проектов Мехоффера и Выспанского, и драматических описаний, как порой пустыми оставались стены, на которых должна была появиться гениальная полихромия одного, или как лишь на картоне оставались проекты витражей другого, — “Меланхолия” и “Заколдованный круг” Мальчевского начинают представляться рефлексией на подобную же тему. Где тот собор, на стенах которого должны — могли бы — осесть плоды воображения его героя-художника?

Вопрос, однако, более сложен, чем сопротивление ретроградов нововведениям в области монументального искусства. То, что мучит Мальчевского (что является меланхолией его собственной, а не Меланхолией аллегорической), можно было бы назвать “кризисом репрезентации”. Говоря об итальянском путешествии, которое совершил в молодости Мальчевский, Тананаева обращает внимание на то, что “отголоски отлично усвоенных уроков итальянских живописцев XV–XVI веков мы встретим неоднократно в его будущем творчестве” и что “искусство Ренессанса навсегда осталось для Мальчевского одной из любимых страниц истории искусства”. Да, любимейшей страницей, но одновременно и тем пределом, который уже невозможно перешагнуть, на котором можно лишь балансировать, меланхолически грустя, что, при всем виртуозном владении унаследованным арсеналом средств, с его помощью можно поведать лишь о собственной приватной мифологии, о своей собственной замороженности образами искусства. После “Меланхолии” Мальчевский как бы позволил порождениям фантазии вырваться в окно, к зелени и жизни, но там они стали уже не полновесными героями, а лишь атрибутами, сопровождающими главных героев в их тотальном одиночестве. Атрибутами ироническими: их навязчивая телесность, осязаемость — как крик отчаяния одинокой души, чье воображение имеет несчастную силу облекать в тяжеловесную плоть все эти фантомы, которые после этого уже никогда ее не отпустят. Но это просто

“одинокая душа”, а вот вправе ли художник доверять своему, столь закодированному идеалу “телесного, осязаемого воплощения” в вопросах, касающихся не индивидуума, а общества, нации? Останови художник, герой “Меланхолии”, коловращение своих навязчивых образов, осадил их на стенах, придав им статус окончательной, однозначной правды, — не пустит ли он в мир химер, опасных уже не только ему одному?

Наверно, за этот вопрос, заданный ранними картинами Мальчевского, так любил их Выспянский — художник, казалось бы, и по своему творческому пути, и по арсеналу средств совершенно иной, а главное — хоть тоже глубоко ироничный, но в отличие от Мальчевского не ёрнический, не заигрывающий с академическим китчем. Лариса Тананаева вспоминает, что Выспянский восхищался ранними картинами Мальчевского и признавал влияние “Меланхолии” на свою драму “Свадьба” (1901). “Свадьба”, а затем “Освобождение” (1903) Выспянского выразили те же смешанные чувства по отношению к призракам героического прошлого: восхищение, ностальгию и в то же время боль от того, что те — уже лишь мертвые призраки, идолы воображения, способные заворочить, но не способные жить и повести за собой.

Читателю книги, однако, стоит после финальной главы о Мальчевском вернуться вновь к Выспянскому — чтобы оценить тот выход, который тот как художник-монументалист предложил из “заколдованного круга”. Можно сказать, что то, что Мальчевский проиллюстрировал своей “Меланхолией” и о чем Выспянский-драматург рассказал в своей “Свадьбе”, Выспянский-художник смог передать в уже лишенной всякой повествовательности манере — через решительное переосмысление арсенала пластических средств. “Беспокойно струящиеся цветковые плоскости, уже почти абстрактные, теряют всякое реальное обоснование и от этого становятся еще более раскованно-экспрессивными, увлекают своей мерцающей игрой”, — пишет Тананаева о проектах его вавельских витражей, одновременно замечая, насколько близка эта — в конце концов так и не осуществившаяся — работа к идеям драматургии Выспянского. Сказанное, однако, справедливо и по отношению ко многим другим зрелым работам мастера. Насыщенные внутренним драматизмом, как бы вопиющие о своей невозможности витражи и их проекты — парадокс! — доказали возможность такого монументального искусства, которое, создавая памятник, воздавая дань, одновременно не создает объекта для идолопоклонничества.

В этом смысле параллель, предложенная в книге Тананаевой, ставит еще один вопрос: о своеобразной борьбе готики и Ренессанса за души художников конца XIX — начала XX века. Мальчевский не мыслит себя без Ренессанса, хотя внутренне и посмеивается над его вырождением в академизм. Выспанский и Мехоффер смело делают шаг назад — обращаются прежде всего к наследию готики, и для них становится возможным шаг вперед, к той самой раскованной экспрессивности, о которой пишет Тананаева. (Разумеется, и для них наследие Ренессанса значимо, и, как вспоминает Тананаева, жест руки Саваофа на витраже Выспанского в костеле францисканцев напоминает жест творящего Страшный суд Христа из Сикстинской капеллы. Но напоминает именно жест, в то время как — позволю себе эту параллель — Мальчевский берет из того же круга образности навязчивую телесность, тошнотворную осязаемость; у него вокруг нового творца, каков у него только и исключительно художник, вращаются его создания и его жертвы — призраки, которым он боится дать жизнь).

Впрочем, сама Тананаева, специалист по эпохе барокко, обращает внимание на то, что готика порой приходила к мастерам рубежа веков именно через барокко. “Таких героев, соединяющих в себе чувственную живую прелесть и страдание, любила эпоха барокко, — пишет она о витражах Мехоффера во Фрибурге. И добавляет: — ...Модерн не раз заставляет вспомнить о барокко и маньеризме и своей неумемной орнаментальностью, и вниманием к наследию готики, и эротизмом, хотя тогда он проявлялся по-иному, и умением использовать изысканную статику, как бы сдерживающую в себе потенциал динамического порыва, и известной литературностью”.

“Три лика польского модерна” снабжены небольшим альбомом с иллюстрациями, из которых, к сожалению, лишь четыре цветных. Однако даже если бы все они были цветными и самого высокого полиграфического качества, у читателя с неизбежностью возникало бы всё то же чувство зависти и ревности — таким наслаждением от общения с оригиналами великих произведений веет со страниц этой книги. “И звонкое, и утонченное сочетание чистых и ярких сапфировых цветов наряда со светло-зелеными яблоками и бледно-зелено-золотистыми листьями яблони” — это мы еще можем себе представить по репродукции “Дивного сада” Мехоффера. Но никакая репродукция не дала бы нам увидеть, как “всё сияет, цветет и блещет золотом на фоне глубокой, темной, сапфировой синевы свода [Скарбца в Вавельском соборе], усложненной изумрудными тонами, так что золотые звезды,

рассыпанные по нему, светятся особым, мерцающим светом”, — тут мы можем лишь разделить восторг человека, прошедшего в этой сказке не один час.

От ред.: В согласии с принятой в советское время (и фонематически неоправданной) транскрипцией, в России до сих пор пишут мягкий знак в польских фамилиях на –нский. Мы оставляем такое написание лишь в выходных данных книг или статей, во всех остальных случаях, да простят нам авторы и переводчики, исправляем. Вопросы русской транскрипции польских имен и названий мы намерены рассмотреть в одном из номеров будущего года.

---

—

**Лариса Ивановна Тананаева. Три лика польского модерна. Выспяньский. Мехоффер. Мальчевский. Санкт-Петербург, “Алетейя”, 2006.**

1.

# НАШ ВЫСПЯНСКИЙ

Станислав Wyspiański (1869–1907) творил на рубеже XIX и XX столетий, когда постулатом новой эпохи, новых поэтов, живописцев, драматургов, режиссеров, архитекторов, музыкантов был синтез искусств. Но то, что для других было постулатом, заданием, идеалом, Wyspiański реализовал. Успел реализовать за свои 38 лет. Он был станковым живописцем, создателем витражей и фресок, дизайнером, графиком, сделавшим польскую книжную и журнальную графику самостоятельным видом искусства, он был поэтом, драматургом, режиссером, сценографом, теоретиком и реформатором театра, архитектором. В Кракове, древней столице Польши, он хотел перестроить сердцевину Старого Кракова — весь Вавельский холм. Он хотел перестроить и польское мышление, самую польскую нацию, самих поляков. И в конечном счете всё ему удалось (хотя ему самому казалось, что удалось ему ничтожно мало, по сравнению с задуманным). Неудивительно, что никто из писавших о нем современников и позднейших исследователей — а работ о нем сотни — даже не претендовал охватить всё сделанное им. По счастью, Wyspiański — художник столь яркий, что даже один какой-то важный фрагмент его творчества может убедить человека, захватить и заинтересовать этим творчеством, этой личностью. В случае Wyspiańskiego личность и творчество тождественны.

Для нас с Натальей Астафьевой эмоциональным центром и камертоном в нашем ощущении Wyspiańskiego стали потрясающие витражи и фрески в костеле францисканцев в Кракове. Ранним утром летнего дня 1963 года, бросив чемодан в краковской гостинице, мы побежали, чтобы успеть за день обозреть “весь Краков”. Мы успели очень много за тот день, но, пожалуй, самым ярким впечатлением и того дня, и того лета остались витражи Wyspiańskiego и в особенности витраж, изображающий Бога-Творца, творящего мир из хаоса. В этом Творце видятся — или чудятся — человеческие черты, но все же это скорее Дух Божий, неотделимый от возносящихся ввысь языков пламени, ибо творение — это горение. Этот огненный Wyspiański и остался с нами.

Поскольку оба мы — не художники и не искусствоведы, а поэты-лирики, мы, естественно, обратились к его лирике, хотя

пишущие о Выспянском как раз о его лирике пишут в последнюю очередь. Вскоре мы купили незадолго до того изданный в Кракове XI том собрания сочинений Выспянского, в который вошли его стихи. Сохранилось около 40 его стихотворений. Почти все сохранившиеся стихи Выспянского написаны в последние годы жизни, в 1901–1905 м.

Стихи Выспянского — в отличие от его драм и исторических поэм (которые принято называть “рапсодиями”) — очень “приватны”. Чаще всего это высказывания, размышления вслух, рождавшиеся в заочной беседе с друзьями, с которыми он переписывался, в какой-то мере даже “ответы” на их письма. Скажем, стихотворение “Веселый я...” написано как “ответ” на письмо Адама Хмеля, друга (а впоследствии и душеприказчика), который спрашивал о здоровье Выспянского, лечившегося на курорте. Свои стихи Выспянский и посылал в письмах к друзьям, иногда они даже не были отделены от текста письма, так что граница текста письма и текста стихотворения условна; стихотворные тексты Выспянского “извлекают” из его писем, как кристаллы из включающей их горной породы.

К своим стихам Выспянский относился очень сурово. Только несколько стихотворений он сам предложил для печати, кое-что публиковали его друзья, которым эти стихи были адресованы.

“Стихи пускай сожгут”, — завещал беспощадный Выспянский своим друзьям и доброжелателям в одном из публикуемых здесь стихотворений. Слава Богу, они не выполнили это его завещание. Но сам он успел сжечь много своих стихов, а в последние дни перед смертью, уничтожая разные свои тексты, особенно много уничтожил именно стихотворных текстов малых форм. Преданная ему тетка Янина Станкевич, сжигавшая, по его указанию, его стихи, кое-что, тайком от него, сохранила, кое-что сохранилось у друзей.

Из нас двоих Выспянский-лирик особенно ответил Наталье Астафьевой. Он был одним из первых польских поэтов, которых она стала переводить. Два его стихотворения — “Пусть надо мной никто не плачет...” и “Веселый я...” — Астафьева переводила почти одновременно, в ее ощущении это было двухчастное целое. В обоих стихотворениях — размышления о смерти, но в обоих и уверенность в бессмертии; не только эти два стихотворения, но и все творчество Выспянского, как написал его современник и друг, “борьба с небытием за бессмертие”. Стихотворения различаются по ритму, по интонации, по тональности. Одно — угрюмое, мрачное, другое

— триумфальное. Одно обращено к друзьям, другое к недругам. В одном поэт благодарит свой “Хор”, то есть друзей, доброжелателей, помощников, в другом — отрешивается от недоброжелателей, которые после его смерти будут прикидываться доброжелателями и “скорбеть” о нем.

Весной 1969 года на юбилейном вечере Выспянского в Малом зале московского Дома Литераторов Астафьева эти два стихотворения и прочла. Председательствовал на вечере 77 летний Сергей Васильевич Шервинский, талантливый поэт (его небольшой томик стихов опубликуют к его 90 летию, он, слава Богу, доживет до этого) и весьма известный переводчик античной поэзии. Он очень внимательно слушал переводы Астафьевой. Уж он-то знал, что оба эти стихотворения Выспянского варьируют тему знаменитой оды Горация (ода 20 я книги второй) о превращении поэта после смерти в лебедя, о взлете и полете поэта над миром, над городами, которые он покинет, над завистью, которую он оставит внизу.

Эту оду Горация в Польше переводил еще Ян Кохановский, а в России перелагал еще Державин, с легкой руки которого эта ода в русской традиции так и называется — ода “Лебедь”. Стихотворение же Кохановского (песня XXIV второй книги песен) прекрасно перевел у нас Леонид Мартынов.

Впрочем, в этих стихотворениях Выспянского больше личности, чем античности. Античность он великолепно знал, любил, чувствовал, но античные мотивы (и в своих стихах, и в своих драмах, где есть целые сцены с участием греческих богов) он варьировал свободно и по-своему. Так и здесь. Превращение поэта в лебедя Гораций и верный ему Кохановский дают подробно и даже натуралистично, у романтика Выспянского поэту для посмертного взлета крылья и перья не нужны, он взлетает к звездам исключительно силой своего духа (как герой “Импровизации” в “Дзядях” романтика Мицкевича).

И полет как метафора свободы, и космизм полета человека к звездам не чужды были Наталье Астафьевой в ее собственных стихах. Это было близко ей и в романтической лирике Выспянского.

Но прежде всего привлекла Астафьеву в стихах Выспянского сама его личность. Его высокий дух. Его максимализм, бескомпромиссность в конфликтах с эпохой и обществом, резкость в неприятии всего, что неприемлемо, резкость самих его высказываний. Сила его стихов, которыми он “сотрясал живущих и могилы”. Но также сочетание романтического пафоса с искренностью, простотой, непритязательностью,

“эскизностью”, часто как бы даже “небрежностью” его стихов. Стихи его казались “эскизными” и “небрежными” по меркам его времени, но именно это обернулось с годами их свежестью, именно поэтому они не выглядели для нас устаревшими полвека спустя, после всех революций первой половины XX века в эстетическом восприятии и в самой поэзии.

Астафьева перевела и стихотворение Выспянского “Когда покинуть мир придется...”. Еще одно стихотворение о смерти. Будучи тяжело и безнадежно больным, много лет зная о своей обреченности, Выспянский к размышлениям о смерти возвращался не раз.

Вчитавшись в первую строфу этого стихотворения, мы вспоминаем, что была еще одна область, в которой Выспянский тоже был человеком одаренным, но не реализовался. Это музыка. Один из его близких друзей рассказывал, что Выспянский всегда напевал что-то и почти всегда это были его собственные фантазии. В поздние годы он просил друзей записывать эти мелодии, но таких записей очень немного, почти все его мелодии слышали только немногие его друзья или не слышал никто. Между тем, по мнению его друга, будь записаны все мелодии Выспянского, его драмы могли бы стать музыкальными драмами. Выспянский хорошо знал современные ему европейские оперы, а одним из вдохновителей его творчества был Вагнер.

Последние строфы этого стихотворения Выспянского заставляют вспомнить предсмертные стихи Лермонтова, который тоже хотел “забыться и заснуть”, но так, чтобы слышать и сладкий голос, поющий о любви, и шум темного дуба. Чтобы остаться причастным земному миру: “чтоб (...) о любви мне сладкий голос пел”, “надо мной чтоб (...) темный дуб склонялся и шумел”. “Мне”, “надо мной”. Подобным образом Выспянский хочет и в могиле слышать шум дождя, хочет, чтобы ему светило солнце, чтобы ему ломил ветки ветер. Он хочет остаться сопричастен жизни, живой природе, ее драматичному, пусть даже полному боли бытию. Перевоплощение в этих строках Выспянского — отчасти поэтическая метафора, но отчасти и метафизика. То, что можно условно назвать “метафизическим чувством”, свойственно всякому подлинному романтику, всякому подлинному поэту, да, в сущности, каждому человеку.

Стихотворение — метафизическое, но и очень личное. “И пусть мои приходят дети” — таково желание Выспянского. Чтобы его дети, именно они играли у гробового входа.



У него была дочка Хеленка, которую он часто рисовал, были мальчики.

Астафьева перевела и короткое, очень резкое, полное чувства собственного достоинства стихотворение Выспянского “О, Краков я люблю...”, стихотворение, брошенное в лицо недоброжелателям (а такие, к сожалению, были).

Несколько коротких стихотворений Выспянского перевел и я. И тоже читал их на том вечере в начале 1969 года.

“Словечкам об искусстве учили попугая” — редкий случай, когда стихотворение Выспянского появилось в краковской газете сразу же по написании. Это живой отклик художника на газетную же статью о его дизайнерской работе: только что открылся в Кракове Дом Медиков, где он проектировал интерьеры и мебель. Статья была вполне доброжелательная, но автор упомянул “кресла в стиле сецессии”. “Сецессией” в Кракове и Вене называли тот стиль начала XX века, который в Петербурге и Москве называли стилем “модерн”. Выспянский — и как живописец, и как книжный график, и как дизайнер — конечно же, причастен к появлению и торжеству этого стиля, но, художник очень самостоятельный и очень самолюбивый, он не терпел, чтобы его творчество втискивали в рамки какого бы то ни было стиля. Обиделся. И решил обидеть своего обидчика.

Сатирические нотки есть и в других стихах Выспянского. А это стихотворение — блестящий образец фразы, жанра, который создал Кохановский и которому суждена была новая жизнь в польской поэзии XX века. Я потом цитировал это стихотворение в моей статье о традициях Кохановского, в главе о судьбах фразы.

Стихотворение “Мысль польская...” — свидетельство того, насколько Выспянский внимательно следил — с тревогой, с болью, но и с надеждой — за возрождением польского искусства, польской мысли, самой польской нации на рубеже XIX–XX столетий. Он был деятелем, может быть, главным деятелем этого возрождения, но и его наблюдателем. Впрочем, слово “наблюдатель” здесь неуместно. Страстность отношения Выспянского особенно чувствуется в срединной части стихотворения, где он разворачивает сильный и страшный образ. Издавна рассказывалось, что караванщики в Африке, если оказывались совсем без воды, на краю гибели, убивали верблюда и пили воду, которая была в его внутренностях. С такими верблюдами Выспянский сравнивает польских “пророков”, польских художников и мыслителей, которые

утоляли духовную жажду своего народа, бредущего через пустыню, утоляли ценой своей жизни. Одним из таких “верблюдов” Выспанский ощущал, конечно, и себя.

Четверостишие “Великий подвиг и великий труд...” комментариев не требует. Это не просто лозунг, декларация, манифест. Великим подвигом и великим трудом были вся жизнь и все творчество Выспанского.

Несколько слов о стихе Выспанского.

Если драмы Выспанского написаны, как правило, рифмованным, но очень свободным и то и дело меняющимся стихом (который лучше всего было бы называть “стихом Выспанского”, как у нас пишут о “стихе Маяковского”), то в лирике стих Выспанского — регулярный, на фоне этой регулярности Выспанский позволяет себе иногда некоторые “неправильности”. Но регулярность регулярности рознь. Выспанский был новатором, и господствуют в его лирике новые для того времени в польской поэзии формы стиха. Русскому читателю очень трудно привыкнуть к осознанию того, что в польской поэзии со времен Яна Кохановского триста лет в качестве классического, традиционного господствовал стих силлабический, а стих силлабо-тонический, классический для русской поэзии, в том числе даже ямб, даже ямб четырехстопный, который у нас “надоел” уже Пушкину, для поляков во времена Выспанского, был все еще “новинкой”, в такой же мере, как стих тонический и стих свободный. Выспанский писал стихи 4 стопным ямбом (“Пусть над мной никто не плачет”, “Когда придет мой час проститься”), 3 стопным ямбом (“Веселый я, весенний”), 5 стопным ямбом (“О, Краков я люблю...”, “Мысль польская...”, “Великий подвиг и великий труд...”). Вот к 5 стопному ямбу, пример которого дал еще Мицкевич, поляки к началу XX века уже чуть-чуть привыкли, благо традиционный силлабический 11 сложник легко может оборачиваться 5-стопным ямбом. Классический же для польской поэзии силлабический стих в лирике Выспанского встречается редко (разве что его 5 стопные ямбы трактовать как вариант силлабического 11 сложника, что тоже допустимо).

Добавлю, что и в драмах, и в лирике часто пользуется Выспанский мужской рифмой, которая в польской поэзии почти отсутствовала, да и в XX веке не распространилась широко: в польском языке мужских рифм мало (польское ударение — на предпоследнем слоге слова), мужская рифма требует односложных слов. Мужские рифмы и односложные слова придают стиху Выспанского особое звучание.

Впрочем, всё это уже нюансы. Ясно, что лирику Выспянского мы любим. Нашли мы в ней и ту “огненность”, которую увидели в его витражах (в стихах у него: “дух мой — столп огня” — о себе, “пламя многорукое взметнулось” — о возрождении польской мысли).

Почему же нет его имени среди 90 имен в нашей с Астафьевой 1000 страничной антологии “Польские поэты XX века”? В нашей концепции XX век в польской поэзии начинается Леопольдом Стаффом. К Стаффу восходят почти все направления художественных и философских поисков польской поэзии XX века. Первая книга стихов Стаффа вышла в 1901 году. Живой Стафф сопровождал поляков в наступившем столетии своими новыми и новыми книгами стихов еще более чем полвека.

Наши переводы из Выспянского публикуются впервые.

Некоторые особенности индивидуальной пунктуации Выспянского сохранены.

Станислав Выспанский

# СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Пусть надо мной никто не плачет,  
кроме моей жены,  
ни ваши слезы мне собачьи,  
ни вздохи не нужны.

Пусть ворон-колокол не кричит,  
унылый хор не поет;  
пусть надо мною дождь заплачет  
и ветер пусть завоет.

Пусть тот, кто хочет, накидает  
над гробом тяжкий холм.

Пусть утром солнце обжигает  
засохшей глины ком.

Когда-нибудь, когда, не знаю,  
как надоест лежать,  
я холм тяжелый раскидаю,  
чтоб к солнцу убежать.

Когда высоко, там, в зените  
я полечу над вами,  
меня обратно позовите  
моими же словами.

Услышу в горнем том полете,  
как ваш призыв звучит —

быть может, вновь вернусь к работе,  
которой был убит.

*Июль 1903*

*Перевод Натальи Астафьевой*

\* \* \*

Веселый я, весенний,  
смеюсь, смеюсь весь день;  
хоть август, вся в цветенье  
мне чудится сирень.

Веселый, дерзновенный,  
встречая время гроз,  
я вижу зреньем веры  
сады цветущих роз.

Веселый, сильный, смелый — — —  
— на смертном ложе? я?

Нет, это только тело,  
а дух мой — столб огня.

Веселый, свежий, бодрый,  
без лишних перьев, гол,  
уже я в круг свободы  
лечу над гребнем гор.

Отпетый в дольном мире,  
лечу в простор высот —  
труп погребен в могиле,  
дух полный сноп несет.

Ах, где же я живой,

иль там, где ввысь лечу я —  
иль там, где, крест целуя,  
кончаю путь земной — ?  
Или я тот, кто, рея,  
несется в блеске молний —  
иль тот, кто жил, не смея  
в полет подняться вольный — ?  
Иль тот, кто в саван белый  
завернут с пеньем слезным —  
иль тот, кто мечет стрелы  
и точит их о звезды — ?  
Иль тот, кто лег смиренно  
перед святым порогом —  
иль тот, кто дерзновенно  
готов предстать пред Богом — ?  
Хотят, чтоб я их звал,  
чтоб вел их за собою,  
чтоб я их волновал  
возвышенной слезою.  
Чтоб в слове был металл,  
чтоб стон был полон силы,  
чтоб дрожью сотрясал  
живущих и могилы.  
Но, видно, до сих пор  
не разглядели Хора,  
ведь силу дал мне Хор,

ведь Хор мне был опора.  
Те, кто делил мой труд,  
кто видел путь мой к цели,  
стихи пускай сожгут,  
ибо они — — глазели.

*Август 1905*

*Перевод Натальи Астафьевой*

\* \* \*

Когда придет мой час проститься,  
какой во мне напев родится  
прощальной тризны над собою?  
Простился с миром уж давно я.  
Уже давно я не печалюсь,  
давно оплакал все утраты.  
Зачем печали б возвращались  
красть, что украдено когда-то.  
Давным-давно уж позабыл я  
мечты о невозвратном рае...  
Живу, чтоб значилось, что жил я...  
по-над рекой, в каком-то крае...  
В каком-то городе, в том месте,  
где я давал обет невесте  
жить рядом в радости и в горе  
с мыслью о нашем общем гробе.  
На этом гробе, общем доме  
пусть же мне ветер ветки ломит

ломкие, хрупкие, сухие  
в осенней дождевой стихии.  
Пусть буду слышать я в могиле  
тот дождь, что плещет в здешнем мире,  
как дождь сквозь сон я слышу смутно,  
зная, что вновь проснусь под утро.  
Пусть утром над могилой светит,  
пусть светит мне, пусть греет солнце.  
И пусть мои приходят дети,  
и кто-нибудь из них смеется.

*Июль 1903*

*Перевод Натальи Астафьевой*

\* \* \*

О, Краков я люблю — ибо  
не камни

мне причиняли боль —  
живые люди,

но дух во мне не дрогнет,  
краковяне,

ничье злоречье жар мой не  
остудит,

дух крепок Верой, той, что  
ликованьем

рассвета озаряет мысль и  
будит.

Гора из брошенных в меня  
камней

меня возносит — я стою  
на ней.

1905 (?)



*Перевод Натальи  
Астафьевой*

\* \* \*

Словечкам об искусстве  
учили попугая,

он преуспел, признаться,  
премудрость постигая;

“модерн” — учили птицу,  
“модерн” — горланит  
птица,

о всякой вещи новой  
“модерн” — кричать  
стремится.

Увидев пару кресел по  
моему рисунку,

“модерн” — вопит  
упрямо, хоть вопреки  
рассудку.

Ждать надо терпеливо: что  
делать, ведь не сразу

вдолбить удастся попке  
очередную фразу.

Искусство путь свой знает,  
но все-таки обидно:

одна такая фраза, и  
МЫСЛЬ к чертям погибла.

*Март 1905*

*Перевод Владимира  
Британишского*

\* \* \*

Мысль польская, иль ты  
уже очнулась,

или под пеплом твой  
огонь не гас,

и пламя многорукое  
взметнулось,

едва вздохнуть хватило  
сил у нас?

Иль ты, как сон  
желанный, нас коснулась,

прохладой над колодцем в  
знойный час,

оазисом среди пустынь  
искусства

для тех верблюдов, что в  
песках влекутся,

таща твои тяжелые тюки,

а караван, коль в горле  
станет сухо,

напьется, распоров  
верблюдам брюхо,

ибо они — живые  
родники?

Иль ты сто лет назад уже  
разбита,

иль жемчуг твой просеян  
так сквозь сито,

что не цветы выросли, а  
сорняки?

А мысль о подвиге еще  
таится,

жемчужина, морских  
глубин жилища,

чтоб взор наш соблазнить  
на миг единый

и вновь исчезнуть под  
песком и глиной?

*Апрель 1905*

*Перевод Владимира  
Британишского*

\* \* \*

Великий подвиг и  
великий труд —

пусть подлецы пред ними  
в прах падут,

как злой сорняк, что  
вырван прочь с корнями.

Пусть всех зовут своими  
именами.

1904 (?)

*Перевод Владимира  
Британишского*

В тексте рисунки Станислава Выспанского: "Королева Барбара",  
"Король Зигизмунд III Ваза", "Король Зигизмунд Август" и  
"Король Казимир Великий и королева Ядвига".

## НЕТ — КОРОТКОЙ ПАМЯТИ!

Я не вижу ничего предубедительного в переносе могил погибших солдат или памятников им на соответствующие кладбища, как это сделали недавно в Эстонии. Однако меня беспокоит путаница понятий, отождествление вождей и функционеров режима с рядовыми гражданами, которым часто лихо доставалось от собственных властей предержавших. Особое же удивление должна возбуждать вытекающая из таких поспешных отождествлений неприязнь — да что там неприязнь, прямая вражда к фронтовому солдату, который пал на этих землях, защищая как-никак и нас.

Говорите, что хотите, но я и сегодня помню, словно это было вчера, тот мрачный день — несколько раньше мы очутились за Саном, куда нам чудом удалось бежать от выселения Замойщины, — когда до нас дошли страшные слухи о том, что немцы готовят еще одно массовое уничтожение: нас тут собирались сжечь и уже начали вырубать сады, которыми славились эти места. Мои родители с пятерыми детьми, не захватив никаких вещей, чтобы не возбуждать подозрений, пытались перейти мост, за которым была деревня с жившими там с XIX века немецкими колонистами, но часовой завернул нас с этого единственного пути к бегству. В панике мы вместе с другими спрятались в длинном крутом овраге, шедшем параллельно реке и видимой поодаль полоске Билгорайских лесов, а перпендикулярно — и реке, и тем лесам — шла полоса холмов, на которых, как нам сказали, уже разместились немцы, чтобы перестрелять нас как уток. Действительно, едва начало рассветать, как с их стороны посыпались выстрелы — с верхушек ольховника со зловещим хрустом посыпались в овраг щепки. В ту же минуту кто-то прибежал задыхаясь и сказал, что от леса сюда движутся советские солдаты. Стало опасно, мы оказались на линии фронта. Сбившись в тревожную толпу, мы решили бежать в лес под прикрытием последних остатков темноты. На ровном открытом пространстве и мы, и бежавшие мимо нас советские солдаты становились хорошей мишенью для немцев. Никогда не забуду солдата, раненного в голову, которую он поспешно заматывал каким-то оторванным от рубахи рукавом, уже сильно окровавленным; он сам нуждался в срочной помощи, возвращался от реки и бежал, как и мы, в направлении спасительного леса, но волновался о нас, впавших в панику штафирках, и, то падая, то поднимаясь, кричал нам:

“Не кучей! Не вместе!” — чтобы мы рассеялись и не облегчали немцам задачу.

Милостивые “чистильщики истории”, если случаем этот солдат там погиб, отъ..итесь от его могилы. Этот солдат — не Сталин, не он оставил поляков в дураках, договариваясь в Ялте и Потсдаме о том, что делать с этими поляками, которые — *nota-bene* — плечом к плечу как с западными союзниками, так и в Костюшковской дивизии воевали с немецкими оккупантами. А если он не погиб на поле в долине Сана, если после взятия Берлина вернулся домой, тоже неизвестно, как сложилась его судьба... Сколько возвращавшихся фронтовиков попадали в лагеря, откуда вышли только после смерти Сталина. Неужели наши политики, историки и все прочие не знают этих фактов, подтвержденных документами, показываемых и по нашему телевидению? Неужели никого у нас ничему не учит сложность человеческих судеб в те бесчеловечные времена, которые старшим поколениям уготовала история?

Помню я и полковника, которого поселили прямо над комнатухой в Замостье, где жили мы с сестрой. В то время советские войска как раз возвращались на родину из-под Берлина. Полковник на протяжении нескольких суток, из ночи в ночь, мерил шагами комнату — мы не могли спать: чего он там так ходит и ходит? А он, должно быть, кое-что знал о том, что может ожидать его на родине. И за день до отъезда пустил себе пулю в лоб.

Если кто-то берется за формирование умов вступающих в жизнь поколений, то пусть, чёрт побери, не останавливается на знаниях о мире, извлеченных из гэбистских досье, пусть не отождествляет преступников и вдохновителей нашего национального несчастья с ни в чём не повинными гражданами, которых вдобавок тоже подвергали самым разным репрессиям и ограничениям те, кто ими правил.

Нет согласия на короткую — и избирательную! — память об общей, о такой трагической истории Европы.

# ПРАВОСЛАВНОЕ КЛАДБИЩЕ В ВАРШАВЕ

Среди немногочисленных, по счастью сохранившихся, памятников-свидетельств бурной истории русского меньшинства в Варшаве особое место занимает православное кладбище в районе Воля. Это один из самых ценных варшавских некрополей. Как всякое кладбище, это особый и драгоценный исторический источник. Даже короткая прогулка позволяет в некоторой степени ознакомиться с историей православной общины города (которую до 1915 г. составляли главным образом русские) и с ее эволюцией с 30-х гг. XIX в. до нашего времени. Сама история этого места тоже представляет собой хорошее свидетельство о постепенных переменах, которые происходили в польско-русских отношениях в последние два века. Это кладбище в настоящее время может быть символом дружбы между живыми и уважения к памяти умерших.

## История

Вольский некрополь — первое по времени возникновения, а ныне и единственное православное кладбище на территории Варшавы. До того как оно было основано, православных из сравнительно немногочисленной тогда общины хоронили на особых участках евангелических кладбищ. Один из сохранившихся до сих пор памятников тех времен — внушительный склеп купца Ивана Скворцова на аугсбургско-евангелическом кладбище в Повонзках, выстроенный в традиционном русско-византийском стиле. Тут стоит отметить, что этот купец, один из самых богатых варшавян своего времени, получил особую привилегию. Он скончался в 1850 г., т.е. тогда, когда русские власти предписали хоронить православных только на Вольском православном кладбище. Официальное открытие кладбища состоялось в 1841 г., хотя погребения совершались уже десять лет, когда здесь упокоились русские воины, погибшие в районе Воля в 1831 г, а затем (в 1836 м) — генерал Никита Панкратьев. Кладбище основали на месте прежнего редута №56, который был важным звеном оборонительных укреплений столицы во время штурма, предпринятого войсками Ивана Паскевича-Эриванского (позднее наместника и князя Варшавского) на исходе

восстания 1830–1831 гг. В этом месте погиб генерал Юзеф Совинский, ставший одним из главных легендарных героев восстания. Костел св. Лаврентия, вероятное место гибели генерала, царские власти приказали превратить в церковь Чудотворной иконы Божией матери Владимирской, в день почитания которой была взята Варшава. Наместник Паскевич и его окружение осуществляли тем самым еще один этап репрессий, последовавших за восстанием и составлявших неотделимую часть того периода польской истории, который у нас называли “паскевичевская ночь”.

С тех пор и вплоть до I Мировой войны кладбище обслуживало всю варшавскую православную общину. Здесь хоронили как аристократов и высших чиновников, так и бедняков. Однако с самого начала скрупулезно соблюдалось деление на участки, закреплявшее земные социальные различия. Сохранилось описание этой классификации, помещенное в изданном по-польски “Путеводителе по Варшаве и ее окрестностям с картой города, картами железных дорог и гравюрами” Ф.Фризе и И.Ходоровича:

“Ближайший к церкви участок предназначен для погребения тел скончавшихся генералов, их семей, а также штаб- и обер-офицеров, награжденных георгиевским крестом. Здесь хоронят и православное духовенство. На втором участке хоронят штаб- и обер-офицеров, а также купцов. На третьем — отставных солдат, мещан и менее зажиточных людей. На четвертом помещаются общие могилы бедняков, умерших в больницах”.

Потом это расположение несколько изменили, в частности, прибавив пятый участок. Таких различий, собственно по чинам, больше нигде в Варшаве не встречалось и составляло специфику этого некрополя. Среди много численных погребений, которые совершались здесь в царские времена, наверняка самыми важными и памятными были похороны генерала Сократа Старынкевича, бывшего градоначальника. На него собрались не только русские, но и толпы поляков, глубоко почитавших и уважавших покойного за заслуги в модернизации и украшении Варшавы — в то время всего лишь губернского города (после восстания 1863 г. Варшава утратила статус столицы Царства Польского).

Как пишут путеводители XIX века, это кладбище считалось одним из самых ухоженных и могло служить фоном для сентиментальных прогулок варшавян, обладавших духовными запросами, или же любителей намогильного искусства. Этим оно напоминало католическое кладбище в Повонзках. В 1903 г. на специально купленном и присоединенном к кладбищу

участке земли была воздвигнута новая церковь св. Иоанна Климача. Средства на нее дал митрополит Иероним Экземплярский, желавший увековечить память своего умершего сына, которого похоронили в крипте под церковью. Со времени смерти Экземплярского крипта стала главным местом погребения православных митрополитов Варшавских. Церковь проектировал В.Покровский, она построена в византийском стиле, греческим крестом в плане. Ее монументальность (несмотря на сравнительно небольшие размеры) и архитектурный стиль должны были составлять противовес уже существовавшей церкви, которая, тем не менее, так никогда и не перестраивалась и сохранила снаружи первоначальный позднебарочный (т.е. несомненно католический) характер.

В 1915 г., когда на территории Царства Польского шло немецкое наступление, всё православное духовенство и почти все русские покинули Варшаву. Кладбище осталось практически без всякого ухода. В 1916 г. старую церковь вернули католикам. Реституции подверглась также территория вблизи этого храма. Это привело к нивелированию почти всех расположенных на ней могил, а зачастую это были самые ценные надгробия, относившиеся к “первому участку”. Удалось сохранить лишь немногие из них, в частности, генерала Старынкевича и Сергея Муханова. В последовавшие годы трагическое положение кладбища не улучшилось или прямо ухудшилось. Начало 1920-х стало временем разрушения многих памятников власти захватчиков, а для многих поляков Вольское кладбище входило в их число. Варшавская печать сообщала о жутких сценах на территории кладбища. Еще в 1932 г. писали, что оно стало местом “сходок разной пригородной шпаны”. Вдобавок некоторые организации, например Товарищество друзей Воли, прямо призывали снести кладбище. То, что рядом был заложен парк им. Юзефа Совинского с монументальным памятником погибшему генералу, дополнительно разогрело страсти, особенно в политических и военных кругах. К счастью, были и те, кто подчеркивал историческую и культурную ценность кладбища, благодаря чему оно сохранилось. Следует также отметить, что такие грубые меры, которые намечалось предпринять, были вызваны не столько ненавистью к русским или православию, сколько желанием обрести повстанческий шанец — особо памятное для каждого поляка место.

В 1932 г. были предприняты первые шаги по постройке железобетонной стены вокруг кладбища, потому что до тех пор стены вокруг него не было (кладбище окружал только земляной вал). Одним из источников финансирования была дотация из



государственной казны. Работы продолжались до начала II Мировой войны, а закончены были только после нее.

Во время войны кладбище не поверглось серьезным разрушениям, хотя в 1944 г. в церкви размещались немецкие части. Здесь проходили массовые казни гражданских лиц. В послевоенный период некоторые советские граждане, поселившиеся в Польше, выкупили на кладбище места для могил. Здесь похоронили также строителей Дворца культуры и науки. Их небольшой участок возник в самой старой части кладбища, где в результате разрушений уже было много свободного места. Вблизи упокоились останки советских солдат и офицеров, погибших в ходе освобождения Варшавы в 1945 году. В послевоенное время оказалось, что варшавская православная община не в силах содержать такое большое кладбище (14 гектаров), на котором было еще очень много свободных участков. Поэтому в 1966 г. было решено уступить часть территории для погребения католиков. Этот шаг еще в те времена был поразительным, учитывая взаимную историческую неприязнь западного и восточного христианства. Сравнительно быстро католики стали выкупать места для своих могил, и тем самым православное кладбище превратилось в кладбище двух вероисповеданий, но по-прежнему под православным управлением. Другим важным фактом в послевоенной истории кладбища было перенесение сюда в 1970 г. старинных могил и надгробий с ликвидированного старообрядческого кладбища — несмотря на серьезные расхождения, до сих пор существующие между старообрядцами и официальной православной Церковью.

С самого начала кладбище служило не только русским, хотя не надо забывать, что в царские времена каждый подданный православного вероисповеданий считался русским. Больше всего представителей других народов (грузин, татар, украинцев, цыган) хоронили здесь в XX веке. Среди них следует особо выделить участок украинских солдат и офицеров, в 1920 г. воевавших вместе с поляками против советской России за независимую Украину. На Вольском кладбище можно увидеть и могилы других украинских (и русских) солдат — тех, что сотрудничали с немцами во время II Мировой войны.

### **Памятники искусства**

Варшавское православное кладбище — великолепный “музей” под открытым небом, богатый замечательными образцами надгробной архитектуры от середины XIX века до начала нынешнего. Сравнительно мало надгробий сохранилось от самого раннего периода существования кладбища (1840-е —

1860 х). Больше всего их сосредоточено у западной стороны кладбищенской стены, вблизи бывшей церкви Владимирской Богоматери. Это в основном простые плиты, горизонтально лежащие на земле. На некоторых из них сохранились рельефы, такие как поклонение ангелов Кресту или паноплий. Другая группа надгробий этого периода — циппусы (каменные колонны), четырехгранные надгробия, наверху заканчивающиеся акротерионами. Большинство надписей, первоначально сделанных хотя бы на одной из их граней, сейчас уже не прочитываются. Много можно найти и надгробий в форме срезанной античной колонны. Тогда это был чрезвычайно популярный символ прерванной жизни, впервые использованный в искусстве надгробий Карлом-Фридрихом Шинкелем. Форма и украшение как этих, так и других памятников типично классицистические и отражают не только увлечение античным искусством, но и по-прежнему живые в то время идеи эпохи Просвещения. Среди крайне редких романтических надгробий можно отметить те, что напоминают невысокую кучку камней. Такого типа стилизация выражает тяготение к народным обычаям с их таинственными предрассудками, которые так влекли художников эпохи романтизма. Следует, однако, подчеркнуть, что нередко мы видим попытки соединить элементы языческой символики, прежде всего античной, с христианской. Это вовсе не было так распространено на других варшавских кладбищах, где в первой половине XIX века кресты на могилах появлялись лишь время от времени.

От второй половины XIX го и начала XX века сохранилось гораздо больше могил. Прежде всего надо отметить несколько воздвигнутых тогда склепов. Они выстроены в разных стилях: от классицизма (могила Нипаничей) до чисто русско-византийского (могила Шелеховых) или смешанного с неоготикой (могила Истоминых) и даже ориентального (могила Замараевых). Они не внушительны по размерам, что явно свидетельствует об ограниченных финансовых возможностях русского купечества (которое их строило). Сравнительно часты большие надгробия — но они все-таки меньше, чем склепы. Некоторые из них проектировались в стиле, прямо связанном с традиционной церковной архитектурой (могила Малаховых). Надо, однако, отметить, что типичный русско-византийский стиль на этом кладбище встречается поразительно редко (на протяжении всей его истории). Это явно свидетельствует об уровне принятия западноевропейских образцов, общераспространенности которых не уменьшил даже крайне традиционалистский курс царских властей после смерти Александра II. Характерная черта

надгробия этого времени — надмогильная статуя во весь рост (в предыдущий период совершенно отсутствующая). Назовем для примера статую ангела на могиле Пелагеи Паскевич-Мораки, женскую статую на могиле Андрея Гримма (точная копия надгробия семьи Герман с католического кладбища в Повонзках) или целую скульптурную группу на могиле Марии Семеновой. Нельзя не упомянуть и персонификацию христианства, украшающую внушительное эклектическое (но с перевесом элементов классицизма) надгробие Никифора Васильева (1874). Для рубежа веков особенно характерны надгробия с растительным рельефом, прежде всего с папоротниками и плющом, обвивающими крест, — это типичный элемент неоромантического намогильного искусства. От начала XX века сохранилось несколько больших надгробий в стиле модерн, многие из которых украшены барельефом лика Христа на Плащанице, то есть, в отличие от чисто православной Плащаницы, типично западноевропейским мотивом.

Отметим, что все авторы (каменщики, архитекторы, скульпторы) здешних надгробий были поляки. Они одновременно выполняли свою работу на других варшавских кладбищах, главным образом на католических и лютеранских Повонзках. Сохранились статуи, высеченные резцом таких известных тогда польских скульпторов, как Анджей Прушинский и Болеслав Сыревич. Из камнерезных мастерских самыми популярными были мастерские с Дикой улицы, возле католического кладбища в Повонзках. Это замечательное доказательство того, что русские и поляки жили в симбиозе, без взаимного бойкота, как можно было бы счесть на поверхностный взгляд. Ко второй половине XIX века относятся и уже упомянутые характерные надгробия с ликвидированного в 1970 г. старообрядческого кладбища. Они имеют форму небольших гробов на постаменте с надписями по бокам. Эта любопытная, особая форма надгробия больше не встречается как на этом кладбище, так и в других варшавских некрополях.

Могилы межвоенного периода редко отличаются какими-то особыми стилистическими чертами, хотя есть и интересные исключения. Особенно характерен склеп старого боярского рода князей Мещерских, воздвигнутый в 1930-е в стиле, напоминающем церковные постройки XVI века. В таком же стиле выдержано надгробие Михаила Арцыбашева (1927), которое венчают три небольших луковичных купола, помещенные на верхней грани надгробной доски. Сохранилось также несколько стел с интересными рельефными украшениями, чаще всего это мотивы цветов.

Послевоенное убожество и бесстильность намогильного искусства затронули и это кладбище. С 1940-х по 1990-е преобладали скромные надгробия из облицовочной плитки. К более амбициозным решениям принадлежит вышеупомянутый участок строителей Дворца культуры и науки, где слегка наклоненные стелы расставлены на прямоугольном постаменте как на шахматной доске. Только в последние годы всё более распространенным становится черный гранит. Самый внушительный объект послевоенных лет — склеп семьи Гудзовых, один из самых больших надгробных склепов в Варшаве (а среди послевоенных — наверняка самый большой). Его оригинальная архитектура обращается к византийским (особенно купол), но и к западноевропейским традициям — например, типичные для стиля модерн металлические украшения входной двери. Прямо рядом с церковью находится маленький памятник известному православному богослову о. Георгию Клингеру. Он воздвигнут в форме маленькой часовенки над скромной гранитной плитой. Внутреннюю сторону ее украшает фреска Ежи Новосельского, известного современного иконописца и живописца, автора фресок, в частности, в церкви св. Иоанна Климача на этом кладбище.

### **Выдающиеся покойники**

Среди погребенных на варшавском православном кладбище редко встречались высокопоставленные гражданские или военные особы. Это вытекало прежде всего из того факта, что даже если такие лица скончались в Варшаве, то их останки чаще всего увозили в глубь России, чтобы они упокоились в семейных могилах. Поэтому здесь не похоронен ни один наместник или генерал-губернатор (хотя несколько из них умерли в Варшаве). Так было и с другими высокопоставленными русскими и их родными, часто происходившими из высшей помещной аристократии (правда, на лютеранском кладбище есть могила брата генерал-губернатора графа Павла Евстафьевича Коцебу). После октябрьской революции никто из русской знати в Варшаве не поселился. Стоит, однако, отметить, что здесь тогда жили (и были похоронены на этом кладбище) многие аристократы, потомки родов, сыгравших большую роль в истории России — например, князья Львовы, Мещерские, Мазараки-Дебольцевы. К исключениям принадлежит по счастью сохранившаяся могила полковника Сергея Сергеевича Муханова (1834–1897), варшавского обер-полицмейстера, председателя дирекции Варшавских театров, заведующего императорскими дворцами в Варшаве. Варшавский театр при нем переживал свои славные

времена. Увенчанием его карьеры был ангажемент Хелены Моджеевской, одной из самых выдающихся актрис в истории польского театра. Женой его была не менее известная графиня Мария Федоровна Нессельроде (по первому мужу Калергис), племянница министра иностранных дел России, муза и подруга романтиков, упорно поддерживавшая идею русско-польского сближения (по матери она была полькой). Ее могила находится на католических Повонзках. Самым известным лицом из военно-чиновничьих сфер, похороненным на этом кладбище, остается вышеупомянутый Сократ Иванович Старынкевич (1820–1892). Ныне уход за его могилой осуществляет Варшавское городское управление водопроводов и канализации, которое ему обязано своим возникновением. Варшава была первым городом в Российской империи, где была построена сеть канализации.

Сохранилось на кладбище и скромное надгробие человека, который, может быть, не был лицом выдающимся, зато бесславно вписался в историю Польши. Это генерал-майор Андрей Николаевич Маркграфский, адъютант генерал-губернатора по политическим делам и начальник жандармского корпуса в Царстве Польском, которого социалисты называли “царским архипалачом”: он несет ответственность за смерть многих революционеров в 1905 году. В июле 1906 г. было произведено знаменитое покушение на его жизнь в Отвоцке под Варшавой. Генерала застрелили, когда он ехал в карете. К несчастью, с ним погиб и его десятилетний сын.

Среди похороненных здесь литераторов прежде всего надо назвать Михаила Арцыбашева (1878–1927). Этот замечательный русский писатель, сочинения которого подвергались критике со всех сторон — как правящей верхушки и консерваторов, так и революционных кругов, — после 1917 г. поселился в Варшаве. Он принадлежал к интеллектуальной элите белой эмиграции, был редактором газеты “За свободу”. Вместе с ним покинул Россию и Дмитрий Философов (1892–1940), петербургский публицист и литературный критик. Он начинал как пропагандист “христианского социализма” и антиреволюционных идей, так что симпатий коммунистов не снискал. В межвоенной Польше он активно занимался журналистикой, причем нацеленной антисоветски.

Похоронен здесь и Евгений Паплинский (1908–1978), замечательный танцовщик и хореограф, который, в частности, был художественным руководителем Варшавской оперы, а также Сергей Надгрызовский (1898–1970), музыкант, аккомпаниатор и педагог, профессор Государственной

музыкальной школы имени Шопена, учредитель Товарищества артистов-музыкантов.

Среди высоких церковных иерархов следует назвать хотя бы митрополита Дионисия (Валединского, 1876–1960), создателя автокефальной Польской Православной Церкви, профессора богословия Варшавского университета и жертву коммунистических гонений в 1948–1957 гг. Покоится здесь и, как мы уже сказали, о. Георгий Клиnger (1918–1976), выдающийся русско-польский православный богослов, выпускник Свято-Сергиевского института в Париже, проректор Христианской богословской академии в Варшаве, который прежде всего занимался современным экуменическим богословием. Он принимал участие во многих экуменических съездах за границей. В 1956–1960 гг. о. Георгий был настоятелем прихода церкви св. Иоанна Климача.

Из ученых назовем Дмитрия Соколькова (1873–1945), радиотехника, близкого сотрудника Александра Попова, одного из изобретателей радио. За свои достижения в области радиосвязи он дважды получил французский орден Почетного Легиона. После 1917 г. он был, в частности, одним из организаторов и вице-директором Варшавского государственного института связи. Среди гуманитариев видной фигурой был генерал Александр Казимирович Пузыревский (1845–1904), начальник штаба Варшавского военного округа, председатель комиссии по делам реформы правительственных театров в Варшаве, но прежде всего замечательный военный историк. Больше всего он прославился трудами по истории восстания 1830–1831 гг. (“Польско-русская война 1831 года”, СПб, 1886). Его заслуги в историографии польского оружия признаны польскими историками.

Наконец отметим, что по сей день варшавское православное кладбище не дождалось настоящей монографии. Не было оно никогда и предметом интереса польских и русских историков и искусствоведов. Кроме нескольких статей единственной работой, которая может претендовать на серьезность, остается изданная в Варшаве в 1992 г. по-польски книга (точнее, книжечка) Петра Пашкевича и Михала Сандовича “Православное кладбище в Варшаве”<sup>[1]</sup>.

- 
1. Как сообщала всеукраинская газета “День” (2003, 18 янв.), “недавно двое украинских историков из Польши, доктор Александр Колянчук, известный исследователь судьбы

солдат и офицеров Симона Петлюры в эмиграции, и историк-любитель Роман Шагала” выпустили по-польски путеводитель “Православное кладбище на Воле в Варшаве. Украинские могилы”: “Авторы монографии, один житель Варшавы, другой — Перемышля, решили рассказать о тех украинцах, которые в XX ст. оказались в столице возникшей в ноябре 1918 года II Речи Посполитой, а затем упокоились в варшавской земле (...) Рассказывая о Вольском кладбище, авторы упоминают людей других национальностей — русских, белорусов, грузин”.

## ПОЛЯКИ РАБОТАЮТ НА СЕБЯ

В Польше появляется все больше фирм. В течение полугода их число увеличилось почти на 11 тысяч. Создавать их поляков побуждают благоприятная конъюнктура и уменьшение риска ведения бизнеса.

По данным Главного статистического управления (ГСУ), за первые шесть месяцев текущего года было создано почти 149 тыс. новых фирм. Правда, это меньше, чем в прошлом году, но, с другой стороны, меньше фирм и закрылось. В общей сложности за год число экономических субъектов увеличилось на 11 тысяч. В настоящее время в Польше существует 3,646 млн. фирм – начиная с малых, единоличных и кончая крупными предприятиями. “Новые фирмы появляются там, где самая благоприятная конъюнктура”, – говорит проф. Эльжбета Адамович из варшавской Главной торговой школы. Неудивительно, что больше всего новых фирм регистрируется в Мазовецком (более 23 тыс.), Силезском (более 15,6 тыс.), Великопольском (около 14 тыс.), Нижнесилезском (13 тыс.), а также Малопольском и Поморском (по 12 тыс.) воеводствах.

### Торговля и строительство впереди

Больше всего фирм (почти сто тысяч) работают в трех отраслях – торговле, строительстве и услугах, связанных с хозяйственной деятельностью. Согласно анализам Института изучения рыночной экономики (ИИРЭ), именно в этих отраслях уменьшается риск ведения бизнеса. “Благоприятная конъюнктура, улучшающиеся показатели фирм и перспективы их развития уменьшают инвестиционный риск”, – говорит Мартин Петерлик. По его словам, на нашем членстве в ЕС больше всех выгадали строительные предприятия. Строительный бум подтверждает оживление в этой отрасли. Появилось 25 тыс. новых фирм, а прекратило свое существование 19 тысяч. “Закрываются главным образом единоличные фирмы. Их владельцы получают выгодные предложения от крупных фирм, так как на рынке не хватает специалистов. Они отказываются от хозяйственной деятельности и получают место в штате”, – объясняет эксперт строительной отрасли Еремий Мордасевич. Однако число фирм растет, поскольку, работая на самого себя, можно по-прежнему заработать больше, чем строя для кого-нибудь другого.



Изменение числа предприятий торговли и обслуживания специалисты объясняют консолидацией, растущим потреблением и ростом спроса на услуги. Правда, в торговле более 47 тыс. предприятий закрылось, зато появилось 41,4 тыс. новых. “Объединяются не только оптовые сети, но и оптовики с розничными торговцами”, – говорит профессор Уршуля Кloseвич-Гурецкая из Института внутреннего рынка и потребления. По ее мнению, растущее число новых фирм объясняется все большей специализацией в торговле – открываются новые специализированные магазины и гастрономы. “В торговле, как в зеркале, отражается конъюнктура – новые фирмы создаются, когда экономика сильна”, – подчеркивает Яцек Шимандерский из Союза предпринимателей Варшавы и Мазовии. Подобным образом обстоит дело и с услугами для бизнеса. Здесь малые фирмы появляются, а затем консолидируются. В течение года их появилось почти столько же, сколько исчезло, – около 25 тысяч.

### **Крупные и динамичные**

ИИРЭ изучает инвестиционный риск и конъюнктуру в отдельных воеводствах. “Наши исследования показывают, что наибольшим оптимизмом отличаются владельцы фирм в крупных воеводствах, хотя все оценили конъюнктуру несколько хуже, чем в июне прошлого года”, – подчеркивает Мартин Петерлик. Разница между густонаселенными воеводствами с крупными агломерациями и остальными регионами видна как на ладони. В пяти регионах с наименьшей численностью населения уже три года подряд закрывается значительно больше фирм, чем создается. “Гораздо труднее удержаться на плаву в районах с более низким потенциалом развития”, – объясняет Эльжбета Адамович. Себастьян Пясецкий из вроцлавского клуба “Авто Форум” хвалит усилия и креативность органов местного самоуправления: “Во Вроцлаве очень благоприятная атмосфера для бизнеса. Во-первых, есть конкуренты из Германии и Чехии. Во-вторых, крупные автомобильные фирмы сотрудничают с местными смежниками”. Пясецкий отмечает также, что все больше малых предприятий начинает беспокоиться о сертификатах и знаках качества, а в Польше это по-прежнему продолжает оставаться редкостью.

Между тем предпринимателей из Варминско-Мазурского воеводства тревожит растущее число закрывающихся фирм при медленном темпе появления новых. “Эмигрируют не безработные, а профессионалы. В регионе закрылось множество малых и единоличных столярных и строительных фирм, а их

владельцы работают на Британских островах”, – говорит Мирослав Хишпанский из регионального общества предпринимателей.

“К созданию фирм людей склоняет и возможность получить средства из Евросоюза. Для многих это важный элемент при принятии решения”, – добавляет Яцек Шимандерский. А средств, выделяемых Евросоюзом, в ближайшие годы должно стать больше. Значит, есть шанс, что прирост количества фирм в первом полугодии не станет единичным случаем.

*Статья написана в сотрудничестве с Петром Мазуркевичем*

Уршуля Козел

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Где-то не здесь

Солнце сегодня такое будто ошибка солнца

и день сегодня такой будто ошибка дня

тянет резину дразнится сон

то темнеет то молния блещет прямо над  
головой

покуда еще я помню может и пережду

зной бесплодных минут в чужой прозрачной  
строфе

еще мне не повезло быть не тою кто я есть

“я” от меня сегодня бежало в неизвестном  
направлении

покуда еще я помню я должна попасть куда-  
то не сюда

есть еще места на земле под высокою аркой

где мысли видны как горы

свежи как реки а ветер

голову кружит

и словам хватает тени под верстовым  
столбом

покуда я еще помню надо свое “где-то не  
здесь”

срочно искать в ГДЕ-ТО НЕ ЗДЕСЬ под  
высокою аркой

держу в руке тяжелый засов

но где эта дверь что никак не могу открыть

чтоб оказаться где-то не здесь  
покуда я еще помню запри мир  
покуда я еще помню время погаси  
люби меня люби покуда я еще помню  
что ты со мною прежде  
чем откуда-то не здесь перейдем в никуда

## Абсурд

Так это правда что никогда больше я не увижу Нью-Йорка

как это можно никогда больше не видеть Нью-Йорка

и не поехать уже никогда в Лиссабон или Рим

только потому что данное мне время перестает быть данным

с этим абсурдом я не могу смириться.

Но как Вергилий говорил в “Энеиде” — как раз теперь самый подходящий момент чтобы взять слово.

Помнишь когда-то я писала с Капри и не только оттуда

как бродя по острову горько плакала что ты опять не со мной

потому что опять тебя не пустили и точно так же было потом в Венеции

тебя не выпускали а мне одной

трудно было снести всю эту красоту.

Как это нельзя поехать когда бы то ни было куда бы то ни было

когда мир наконец открыт нараспашку и паспорт у каждого в ящике стола

к этому абсурду невозможно привыкнуть.

О Лиссабоне часто говорил Ал. Берто и ясное дело  
заодно о Пессоа

он читал мне свои стихи по-французски на полях под  
Пуатье

где мы собирали fossiles а я даже нашла наконечник от  
стрелы

потерянный возможно при знаменитой битве с  
сарацинами.

Кто-то вскоре мне написал что Ал. Берто  
скоропостижно скончался.

Поэтому читая Пессоа я иногда и его вспоминаю

и вспоминаю замок Прюнье мадам Ю-Ю и всю  
сладкую Францию

дарованную мне в ту осень.

Как я смогу без Парижа Лиссабона попасть к себе самой

той что частичку себя оставила даже в алтайских  
горах.

Тамошний поэт наградил меня именем Чечек  
“цветочек”. Дрожащим голосом

он пел мне старинный эпос о смерти боевого жеребца

высеченной как бы резцом на барельефах Ассирии

где конь настигнутый стрелой еще хочет стать на  
дыбы

на бегу хотя смерть уже пригвозждает к земле хребет

облитый потом. Неужто мне никогда не услышать  
крика гиббонов

скачущих по скалам залива Ха-лонг

по скалам торчащим из воды вертикально словно  
колонны

сказочных дворцов разрушенных временем

Это же чистый абсурд никогда не поверю.

Неужели и вправду уже никогда с мадам Ю-Ю  
не усядусь в просторной кухне замка Прюнье  
чтобы слушать рассказы про ее одинокое детство?  
Она не снимала перчаток. У нее  
была непонятная аллергия на черный цвет  
поэтому ей приходилось избегать своих сверстников  
они не понимали что она страдает и должна быть  
одна. И она вверялась  
менгирам и дольменам потому что они умели  
как никто хранить секреты врытые в сердцевину  
бретонских скал.  
С нею мы тоже искали fossiles на полях вокруг замка  
считая при этом камни что ставили когда-то  
паломники  
устремляясь по этой дороге в Сантьяго де Компостелла  
а может устремляясь к концу своих дней.  
Ах нет невозможно чтобы данное мне время  
перестало быть данным  
и обходило меня. Мыслью цепляюсь за пылинки  
минут  
словно хотела бы заглушить не столько memento mori  
сколько memento momentum чтоб исчезающий  
времени след уберечь.  
Никто мне не скажет так как сказал Эней своим  
спутникам  
что может быть “будем еще весело вспоминать”  
то что сегодня тревожит. “Forsan et haec olim  
meminisse iuvabit”  
но как ты знаешь Вергилий этого “когда-то” у нас

никогда уже больше не будет. Никакого “когда-то”  
или “потом”.

Это же чистый абсурд. Я прямо не могу поверить

что кто-то мимоходом не вникая в соображения и  
подробности

одним щелчком отменит дарованное мне время

чтобы я уже никогда не умела пойти куда глаза глядят

и где растёт трын-трава а еще и туда где ночью  
лягушки

доложат предвечному весь ход моей жизни

и будет вторить им пруд погружённый в себя

а шёпот его подхватят колышась камыши

от которых к самому небу вознесет его жаворонок.

Так на этом мое путешествие будет окончено?

Уршуля Козел

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Где-то не здесь

Солнце сегодня такое будто ошибка солнца

и день сегодня такой будто ошибка дня

тянет резину дразнится сон

то темнеет то молния блещет прямо над  
головой

покуда еще я помню может и пережду

зной бесплодных минут в чужой прозрачной  
строфе

еще мне не повезло быть не тою кто я есть

“я” от меня сегодня бежало в неизвестном  
направлении

покуда еще я помню я должна попасть куда-  
то не сюда

есть еще места на земле под высокою аркой

где мысли видны как горы

свежи как реки а ветер

голову кружит

и словам хватает тени под верстовым  
столбом

покуда я еще помню надо свое “где-то не  
здесь”

срочно искать в ГДЕ-ТО НЕ ЗДЕСЬ под  
высокою аркой

держу в руке тяжелый засов

но где эта дверь что никак не могу открыть



чтоб оказаться где-то не здесь  
покуда я еще помню запри мир  
покуда я еще помню время погаси  
люби меня люби покуда я еще помню  
что ты со мною прежде  
чем откуда-то не здесь перейдем в никуда

## Абсурд

Так это правда что никогда больше я не увижу Нью-Йорка

как это можно никогда больше не видеть Нью-Йорка

и не поехать уже никогда в Лиссабон или Рим

только потому что данное мне время перестает быть данным

с этим абсурдом я не могу смириться.

Но как Вергилий говорил в “Энеиде” — как раз теперь самый подходящий момент чтобы взять слово.

Помнишь когда-то я писала с Капри и не только оттуда

как бродя по острову горько плакала что ты опять не со мной

потому что опять тебя не пустили и точно так же было потом в Венеции

тебя не выпускали а мне одной

трудно было снести всю эту красоту.

Как это нельзя поехать когда бы то ни было куда бы то ни было

когда мир наконец открыт нараспашку и паспорт у каждого в ящике стола

к этому абсурду невозможно привыкнуть.

О Лиссабоне часто говорил Ал. Берто и ясное дело  
заодно о Пессоа

он читал мне свои стихи по-французски на полях под  
Пуатье

где мы собирали fossiles а я даже нашла наконечник от  
стрелы

потерянный возможно при знаменитой битве с  
сарацинами.

Кто-то вскоре мне написал что Ал. Берто  
скоропостижно скончался.

Поэтому читая Пессоа я иногда и его вспоминаю

и вспоминаю замок Прюнье мадам Ю-Ю и всю  
сладкую Францию

дарованную мне в ту осень.

Как я смогу без Парижа Лиссабона попасть к себе самой

той что частичку себя оставила даже в алтайских  
горах.

Тамошний поэт наградил меня именем Чечек  
“цветочек”. Дрожащим голосом

он пел мне старинный эпос о смерти боевого жеребца

высеченной как бы резцом на барельефах Ассирии

где конь настигнутый стрелой еще хочет стать на  
дыбы

на бегу хотя смерть уже пригвозждает к земле хребет

облитый потом. Неужто мне никогда не услышать  
крика гиббонов

скачущих по скалам залива Ха-лонг

по скалам торчащим из воды вертикально словно  
колонны

сказочных дворцов разрушенных временем

Это же чистый абсурд никогда не поверю.

Неужели и вправду уже никогда с мадам Ю-Ю  
не усядусь в просторной кухне замка Прюнье  
чтобы слушать рассказы про ее одинокое детство?  
Она не снимала перчаток. У нее  
была непонятная аллергия на черный цвет  
поэтому ей приходилось избегать своих сверстников  
они не понимали что она страдает и должна быть  
одна. И она вверялась  
менгирам и дольменам потому что они умели  
как никто хранить секреты врытые в сердцевину  
бретонских скал.  
С нею мы тоже искали *fossiles* на полях вокруг замка  
считая при этом камни что ставили когда-то  
паломники  
устремляясь по этой дороге в Сантьяго де Компостелла  
а может устремляясь к концу своих дней.  
Ах нет невозможно чтобы данное мне время  
перестало быть данным  
и обходило меня. Мыслью цепляюсь за пылинки  
минут  
словно хотела бы заглушить не столько *memento mori*  
сколько *memento momentum* чтоб исчезающий  
времени след уберечь.  
Никто мне не скажет так как сказал Эней своим  
спутникам  
что может быть “будем еще весело вспоминать”  
то что сегодня тревожит. “*Forsan et haec olim  
meminisse iuvabit*”  
но как ты знаешь Вергилий этого “когда-то” у нас

никогда уже больше не будет. Никакого “когда-то”  
или “потом”.

Это же чистый абсурд. Я прямо не могу поверить

что кто-то мимоходом не вникая в соображения и  
подробности

одним щелчком отменит дарованное мне время

чтобы я уже никогда не умела пойти куда глаза глядят

и где растёт трын-трава а ещё и туда где ночью  
лягушки

доложат предвечному весь ход моей жизни

и будет вторить им пруд погружённый в себя

а шёпот его подхватят колышась камыши

от которых к самому небу вознесет его жаворонок.

Так на этом мое путешествие будет окончено?

Анна Свирщинская

# ИСТОРИЯ

у  
р  
ш  
у  
л  
е  
К  
о  
з  
е  
л

Я ходила по вечному Риму,  
вечным камням говорила: я  
страдаю.

Страдание давало мне право  
говорить с камнями.

В Риме, в зоопарке,  
я увидела за решеткой леопарда,  
сошедшего с ума.

Он лежал на спине, притворяясь,  
что он играет,

это было страшно,

я его поняла.

Я в себя приняла его звериное  
отчаянье,

но он не взял моего.

Я ходила по вечному Риму,  
ко мне взывало страдание эпох,  
я читала его письма

в жестах статуй и в лицах дворцов,  
под триумфальными арками — в  
камнях, мостовой,  
стершейся под ногами миллионов.

Каждая горстка земли была здесь  
криком,

криком здесь были река и воздух  
синий,

Замок Святого Ангела

выл под пыткой,

император Адриан и Джордано  
Бруно

умирали у меня на глазах

в медленных муках.

Я ходила по великолепному Риму,

я пасла свое маленькое страдание

на огромном пастбище страданий  
мира.

## ДВУАЗЫЧНЫЕ ВЫВЕСКИ

Двуязычные русско-польские надписи, висевшие столетие назад над витринами столичных магазинов, теперь уже меньше ассоциируются с одним из самых болезненных элементов политики русификации в Привислянском крае и, безусловно, уже в большей степени порождают ностальгические воспоминания о Варшаве времен Болеслава Пруса. Примером может послужить реклама мастерской по изготовлению медной аппаратуры “Адольф Витт и сын” на фасаде здания по ул. Эмилии Платер, 9/11 (ранее ул. Леопольдины), восстановленная, впрочем, довольно-таки по-любительски (ибо непонятно, почему надпись, относящаяся к XIX веку, выполнена в соответствии с современной, а не тогдашней русской орфографией).

В Варшаве обязательное двуязычие в первый раз ввели в 1844 году. По приказу тогдашнего генерал-губернатора “почти все вывески были переделаны так, что по соседству с польскими непременно надлежало разместить и русские надписи”. Однако же это распоряжение еще не соблюдалось в полной мере, а порой его обходили, причем настолько ловко, что “рядом с аршинными польскими буквами мелкую русскую надпись едва удавалось разглядеть”, – сетовал много лет спустя журналист в правительственном “Дзеннике повсехном”.

И только поражение восстания 1863 года привело к тому, что в июне 1864 г., “когда всё возвращается к нормальному состоянию, – как выразился в эвфемистическом стиле тот же самый “Дзенник повсехный”, – пришел черед и на вывески”.

Варшавская пресса опубликовала обращенный “ко всему составу полиции” приказ варшавского обер-полицмейстера Фредерикса, в котором тот “распорядился произвести досмотр всех вывесок в Варшаве и дал указание объявить купцам, фабрикантам, ремесленному люду и всякого рода промышленникам, дабы вывески свои они самое позднее до 15-го (27-го) числа июля месяца сего года под угрозой закрытия заведения переделали таким способом, чтобы рядом с польскими надписями имелись также надписи на русском языке и чтобы русские буквы были никак не меньше польских”.

По истечении этого срока специальные чиновники ходили с линейками, замеряя высоту и толщину отдельных букв на

вывесках. “Мы отнюдь не скрываем, что господа владельцы заведений из-за сего подвернутся чувствительным хлопотам и расходам. Но что же поделать? Ведь там, где речь ведется об общественном порядке и неуклонном выполнении установленных правил и уложений, всякие иные соображения должны отставлять”.

Двуязычными были и таблички с названиями улиц, театральные афиши, а также расписания омнибусов и трамваев.

Одни лишь извещения о смерти, расклеиваемые по городу, могли вывешиваться только на одном языке. Варшавяне настолько привыкли ко всему этому, что не замечали таких надписей. И лишь вывеска, составленная исключительно по-русски, поражала и корбила их, вызывая шок.

Двуязычные вывески, таблички и надписи удерживались в Варшаве на протяжении полувека. А в августе 1915 г., когда россияне отступили из столицы, уходя от продвигающейся немецкой армии, ненавистная русская кириллица исчезла наконец из городского пейзажа.



## КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

• Как всегда, сентябрь прошел у нас под знаком десятой музыки. Еще не так давно критики горько сетовали, что на фестиваль в Гдыне они ездят как на похороны. На этот раз настроение было совсем иным. 32-й Фестиваль польских художественных фильмов в Гдыне удался! После введения новой системы финансирования, разработанной по проверенным в странах ЕС образцам, польское кино ожило, обрело второе дыхание. С экрана исчезли чернуха, безнадежность и эпатаж уродством. Молодые кинематографисты решаются использовать теплый, ироничный юмор, не стыдятся эмоций, не боятся говорить о необходимости любви и надежды. Как заметил замечательный польский критик Тадеуш Соболевский, польское кино стало более “чешским” — доброжелательным к людям и миру, полным юмора, обращающим внимание на детали, на второй план. В целом оно “поумнело”.

Посыпался дождь премий. “Золотых львов” получил фильм “Штучки” молодого режиссера Анджея Якимовского (ранее награжденного на фестивале в Венеции). Фильм рассказывает о маленьком мальчике из Валбжиха, пытающемся обмануть судьбу и вернуть домой отца, который когда-то ушел из семьи. Премия за режиссуру досталась Томашу Вишневскому за фильм “Всё будет хорошо” — историю о мальчике, который бежит через пол-Польши на Ясную Гору, чтобы вымолить исцеление для своей больной раком матери. Эта картина вступает в интересный диалог с верой и полемизирует с польской простонародной религиозностью. По словам все того же Соболевского, она “мудрее многих церковных проповедей”. Аниита Пётрковская из “Тыгодника повсехного” не сомневается, что лучшим фильмом фестиваля и одним из самых интересных польских фильмов за последние несколько лет стала картина “Пора умирать” Дороты Кендзежавской. Впрочем, это было не единичное мнение. Превосходную, лучшую в своей жизни роль сыграла в этом фильме 92-летняя Данута Шафлярская. Премию за лучшую женскую роль она получила, воплотившись в образ старой дамы, доживающей свой век в древней полуразрушенной вилле. Прекрасное увенчание актерской карьеры, продолжавшейся более 60 лет! А дебютировала Шафлярская в легендарных “Запрещенных песенках”...

- Вне конкурса в Гдыне была показана долгожданная “Катынь” Анджея Вайды. Торжественная премьера кинофильма состоялась 17 сентября в варшавском Большом театре. Присутствовали представители государственной власти во главе с президентом Лехом Качинским, артисты, интеллигенция и родные катынских жертв, а также представители российского “Мемориала”.

За первые две недели проката фильм Вайды посмотрели в кино более миллиона зрителей. Мнения критики относительно чисто художественных достоинств фильма разделились: некоторые, к примеру, упрекают режиссера в школьно-дидактическом тоне. Но несомненным остается то, что такой фильм должен был в конце концов появиться.

На страницах “Дзенника” критик журнала “Фильм” Эльжбета Цяпара размышляет, как отреагируют на “Катынь” россияне: “Вероятно, они сочтут фильм Вайды очередным проявлением польской антирусской истерии. Между тем „Катынь” — вовсе не антирусский фильм. Не только потому, что в нем появляется фигура „хорошего русского” — капитана, который, догадываясь, какая участь ждет интернированных поляков и их семьи, пытается спасти Анну и ее дочку. „Катынь” — это обвинение преступного тоталитарного режима. Палачи в этом фильме безымянны, камера редко показывает их лица. Лишь в финале, когда всё новые поляки падают в выкопанные для них могилы, на экране появляется портрет Сталина. Именно по его приказу были убиты более двадцати тысяч поляков”.

- В этом году жюри премии “Нике” удивило всех, включая самого лауреата. На церемонии вручения премии в библиотеке Варшавского университета Веслав Мысливский не скрывал своего изумления: “Это не кокетство. Я действительно не ожидал”. Мысливский получил важнейшую польскую литературную премию уже второй раз! Десять лет назад, в первом конкурсе “Нике”, был награжден его роман “Горизонт”, в этом году — “Трактат о лущении фасоли”.

Те, кто уже прочитал “Трактат”, до сих пор гадают, к кому обращает свой необъятный монолог герой романа — электрик, саксофонист, а на старости лет еще и сторож, охраняющий дачный поселок. Кому он рассказывает всю свою жизнь военного сироты? В один прекрасный день к нему приходит незнакомец — на вид нормальный человек в плаще, шарфе и шляпе, но, как выясняется, ему не нужно бриться, потому что у него не растет борода, а кроме того, его не видно на фотографиях. Дух, Смерть, Ангел-хранитель? Луца фасоль, оба начинают философствовать, размышлять о человеческой

судьбе. “Со времени выхода предыдущей книги Мысливский из мудрого человека превратился в мудреца”, — сказал краковский критик Михал Павел Марковский. И, пожалуй, не ошибся.

- Мой фаворит Мариуш Щигел получил за свой прекрасный сборник репортажей о Чехии, озаглавленный “Готтленд”, премию читателей “Газеты выборчей”, а спустя несколько дней в здании Фонда Стефана Батория ему была вручена премия им. Беаты Павляк, присуждаемая за тексты, популяризирующие знания о других культурах, религиях и цивилизациях. У молодого талантливое писателя есть и еще один шанс: книга “Готтленд” вошла в шорт-лист центральноевропейской литературной премии “Ангелус”, присуждаемой во Вроцлаве.

- Самую известную премию, присуждаемую польским писателям в возрасте до 40 лет, — премию Костельских — получил в этом году 27 летний Миколай Лозинский за свой литературный дебют, роман “Reisefieber”. Действие книги происходит в Париже, куда главный герой, писатель, работающий над “современным романом”, приезжает, узнав о смерти матери. Своей атмосферой книга напоминает фильмы Бергмана: самой большой тайной бывают для нас наши близкие.

- В Варшаве, дожив почти до ста лет, умер Владислав Копалинский — великий эрудит, замечательный лексикограф, переводчик и издатель. Несколько поколений поляков пользовались его “Словарем иностранных слов”, переизданным более тридцати раз. Большим успехом пользовались также его “Книга цитат из польской художественной литературы XIV–XX веков” (в соавторстве с Павлом Герцем) и “Словарь мифов и традиций культуры”. Впрочем, подобных изданий было гораздо больше. Владислав Копалинский не дожид до издания своей последней книги “От слова к слову”, в которой выразилась его любовь к этимологии. (Читайте в этом номере статью Иоанны Щенской о Копалинском.)

- Гюнтер Грасс родился в Гданьске и свое 80 летие тоже решил отпраздновать в родном городе. К сожалению, не обошлось без политических конфликтов: против юбилейных торжеств протестовали городские депутаты “Права и справедливости”, возмущенные тем, что в молодости автор “Жестяного барабана” служил в Ваффен-СС. Грасс написал об этом ранее скрываемом факте в недавно изданной (в том числе и в Польше) автобиографической книге “Чистка лука”. Год назад ее выход в Германии вызвал настоящую бурю и навлек на

писателя грома и молнии. В Польше тоже возникло замешательство. В первое мгновение не только политики Пис, но и Лех Валенса потребовал лишить нобелевского лауреата звания почетного гражданина Гданьска. Этого не случилось, так как Грасс направил президенту города торжественное письмо, в котором преобладал тон сожаления, страдания и раскаяния. Депутаты, собравшиеся в гданьской ратуше, приняли заявление Грасса аплодисментами.

Когда накануне юбилейных торжеств вновь раздались голоса, протестующие против приезда Грасса в Гданьск, слово взял известный гданьский писатель и эссеист Стефан Хвин. “То, что он был шестнадцатилетним молокососом, служившим в СС, и долгие годы не говорил об этом публично, не уменьшает моего восхищения „Жестяным барабаном” ни на миллиметр. И в этом суть вопроса. Ибо от большинства из тех, кто сегодня яростно атакует или защищает Грасса, не останется и следа на поверхности Земли, а „Жестяной барабан” сохранится и, как мне кажется, еще долго будет светить во тьме человеческого мира как маяк в польском Хеле”, — написал автор “Ханеманна”, добавив, что он не собирается присоединяться к хору патриотов, призывающих Грасса пасть на колени, каяться и извиняться. Стефан Хвин внушил мне уважение силой своего голоса, своей мудростью и отвагой.

А день рождения в Гданьске все-таки состоялся. Был торжественный ужин в усадьбе Артуса и выставка рисунков, подаренных городу писателем. Были литературные дискуссии и конференция, посвященная польско-немецкой памяти, в которой приняли участие маршал Сената Богдан Борусевич, а также бывшие президенты Польши и Германии Лех Валенса и Рихард фон Вайцзекер. Вышел и путеводитель “Гданьск Гюнтера Грасса”, приглашающий всех желающих на ностальгическую прогулку по Тригороду (Гданьск-Гдыня-Сопот) по следам писателя и героев его книг.

# ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Я и не заметил, что наступает юбилей “Зешитов литерацких” (“Литературных тетрадей”, 99 й номер которых только что приземлился на моем письменном столе. Этот ежеквартальный журнал, основанный в Париже в начале военного положения, входит в число тех периодических изданий, которые задают тон интеллектуальной жизни страны. В 1982 г. первый номер, добравшись до Польши, произвел огромное впечатление — тем более что с самого начала его редактировал возглавляемый Барбарой Торунчик (до эмиграции соредатор подпольного журнала “Запис”) международный коллектив. В этом, кстати, “Зешиты” продолжали традицию другого подпольного журнала — “Критики”, — среди редакторов которого был, в частности, будущий чешский президент Вацлав Гавел. Среди редакторов “Зешитов” с самого начала были Иосиф Бродский и Томас Венцлова. И тоже с самого начала журнал вызывал споры, особенно в первый период своей деятельности: многие критики считали его слишком “академическим” и уделяющим недостаточно внимания, как нас приучили с одной стороны подпольные журналы, а с другой — хотя бы парижская “Культура”, текущим, злободневным вопросам, может быть слишком преходящим, но тогда крайней живо волновавшим читающую публику.

Однако по прошествии лет эта стратегия оказывается чрезвычайно плодотворной. Кстати, “Зешиты”, многими рассматривавшиеся как литературный конкурент “Культуры”, таковыми вовсе не были, хотя им удалось включить в круг своих близких сотрудников многих авторов из окружения Гедройца (назовем, к примеру, Чеслава Милоша и Константы Еленского). Они скорее составляли — как редактировавшие самим Гедройцем “Зешиты хисторичне” (“Исторические тетради”) в сфере глубокого проникновения в историю — укрепление развивавшегося “Культурой” литературного крыла, тем более нужное, что журнал Гедройца такого притока материалов печатать не мог, а остальная эмигрантская периодика была сосредоточена главным образом на общественно-политических вопросах. Гедройц к созданию журнала отнесся несколько прохладно, однако много лет

спустя, когда я с ним об этом разговаривал, признал это начинание не только важным, но и достойным внимания ввиду того, что Барбаре Торунчик удалось сохранить серьезную независимость от меценатов и тем самым обрести возможность самостоятельно решать, какова будет “линия журнала”, без необходимости платить какую-то дань, которой меценаты обычно добиваются. А такого рода независимости Гедройц придавал огромное значение. В то же время, что не удивляет у этого “политика до мозга костей”, он как будто был удивлен отсутствием в “Зешитах” того, что можно назвать тональностью борьбы.

Однако борьба эта с самого начала “Зешитам” сопутствовала, только не в аспекте текущей политической деятельности. Это была — а пожалуй, и по сей день таковой остается — борьба за самый высокий интеллектуальный уровень журнала, который ставит своим авторам, в том числе и многочисленным дебютантам, неслыханно высокие требования. Впрочем, он выдвигает требования и польской культуре как целому, причем не только в ее внутреннем аспекте, но и в плане открытости к диалогу с другими, о чем свидетельствует все время живой, а поначалу и доминировавший в журнале цикл под рубрикой “Срединная Европа”. Причем особого внимания заслуживают монографические номера, посвященные крупным фигурам современной культуры. И как раз в последнем выпуске помещена необычайно интересная подборка материалов, посвященных Александру Вату (1900–1967), поэту, который уже самым первым своим сборником побудил к размышлениям и положительному отклику не кого иного, как Станислава Игнация Виткевича (Виткация), а позже более или менее заметно влиял на перемены в послевоенной польской поэзии, свидетельства о чем редакция “Зешитов литерацких” старательно собрала.

Среди текстов самого героя номера на меня произвел большое впечатление перевод выступления Вата на одном поэтическом фестивале — “Поэт перед лицом истории”. Выступление в значительной степени посвящено соотношению между техническим прогрессом и поэзией. Приведу из него обширный отрывок:

“Чтобы проложить путь завтрашней поэзии, надо прежде всего представить себе, кем будет завтрашний человек. И вот мы, собрание поэтов, превращаемся в биеннале гадалщиков! А что, разве мы не *genus vatum*? (...) А раз поэзия есть искусство специфичности, точности „незавершенного свершения” (Гуссерль), то как же ей поспеть за безумным бегом техники!

Напрасный труд. Едва лишь воображение поэта освоит сегодняшние предметы, как они уже уходят в прошлое. Их красота — дело моды, меняющейся, как в калейдоскопе, она стареет и становится смешной, а не эпической, трагической, возвышенной. (...) Кем может быть этот устрашающий завтрашний человек? Дай-то мне быть плохим пророком! Впрочем, его пришествие пророчили издавна. „Bauer aber nicht Mensch, Metzger aber nicht Mensch, Dichter aber nicht Mensch”, — говорил Гёльдерлин о своих соотечественниках. И вот правнук этого бауэра, мецгера и дихтера — Гесс, комендант освенцимского лагеря, написал в польской тюрьме автобиографию (...). Книга-фундамент, книга-образец, показывающая, что он вовсе не был садистом. Если бы был! (...) Отнюдь не садист, отнюдь не безумец — наоборот, человек, лишенный собственного разума, очищенный от самого себя, от своей личной человеческой ответственности. Он стал исключительно прагматическим орудием мнимой воли масс, которую используют все великие институты исторических сил Нового времени, а также тех сил, что хотят считаться историческими. Человек-инструмент, человек функциональный или оперативный, продукт войн и техники, увенчание столетия отчуждения. „Тоталитарная личность” Адорно — это уже пережиток. Я не утверждаю — упаси Боже! — что завтрашний человек непременно будет палачом. Или жертвой. Или тем и другим в одном лице. Возможно, он будет хорошим ребенком. Но я опасюсь (...) что, порожденный и вскормленный перманентной промышленной революцией, в результате переизбытка техники, прогрессирующего иссушения духовных соков и, наконец, энтропии ценностей он станет орудием исторических сил!”

Можно ли сопоставлять автобиографию освенцимского убийцы с творчеством поэта? Ват знает, что это рискованный прием:

“Перейти от Гесса к поэтам — ничего себе демагогия! Да, но ведь Гесс был всего лишь чудовищным цветением некоторого состояния сознания, более широко распространенного, чем принято считать. Его надо изгнать отовсюду, где оно появляется или где оно укрывается! А поэзия — не охраняемая зона. Инструментализм в философии, науке, искусстве и жизни появился не вчера. Благодетельный и необходимый для мыслителя или художника, когда они склонялись над орудиями своих исследований, он вынуждал их задаваться вопросами о „мыслящей вещи”... и приводил к прагма как директиве. В науке он совершил величайшие открытия и полностью уничтожил целокупность, единство науки и мира и

даже, представьте себе, чудесный дар синтеза. В нашей нынешней жизни это направление всеми силами старается столкнуть человечество куда-то на краешек общества людей-механизмов. Всеохватный диалектический процесс и дегуманизация привели к тому, что прежний *modus* стал сутью, а средства — целью в себе. Инструментализм в поэзии оказался необходимостью, когда всеобщая гамма чувств подверглась фундаментальному преобразованию, что мы приписываем различным причинам, хотя и не знаем, какая из них была главной. Необходимостью, ибо надлежало уничтожить устарелые средства поэтического искусства, ставшие совершенно условными. Ах, сколько поколений новаторов и обновителей! Воздадим им справедливость: обновление языка, расширение поля непрерывности, углубление поэтического мышления и чувства, введение до сих пор не употреблявшихся комплексов слов и образов, тонкое различие тех или иных способов, чувство несказанного освобождения, а главное — небывалая изобретательность. Часто мы слышим, что в каждом стихотворении поэзия творится каждый раз заново. Но вот склад изобретений трещит по швам. Молодежь теряется на этих дворах чудес, а иногда на барахолках мод, форм и приемов. (...) Но поэзия, которой наскучила зависимость от творящейся злободневности, уже бунтует против этой, явно господствующей тенденции истории. Она обязана рискнуть и — сознательно и обдуманно — отмежеваться от судьбы, которая ждет человека в ближайшем будущем. Пусть она найдет силы на *дезинтеграцию*, чтобы опять стать *forma formarum* внутренней интеграции человека. Пусть противостоит истории, по мере того как история противостоит поэзии. Нет уже речи о приспособлении к действительности ради того, чтобы сохранить нравственное и умственное здоровье. Прямо наоборот!”

Текст Вата оказывается, как мы видим, еще одним манифестом, надстроенным над опытом модернизма и выходящим за территорию его воздействия:

“Мы можем, таким образом, постулировать поэзию, в высшей степени пневматическую и пневматологическую, направленную внутрь, но абстрагирующуюся от психологии и преодолевающую антиномии „внутри — снаружи”, „я — другой”, „действительность субъективная — действительность социальная”, „поэзия лирическая — поэзия гражданская” ... Поэзию, которая не будет внемирной, но от мира и против него. Исходящую из истории и обращенную против нее. Поэзию человека отчаявшегося, но не поэзию отчаяния. Не невротическую — оздоравливающую! Как же не



предвидеть неизвестные страдания, которые выпадут на долю воображенного здесь поэта, страдания элементарные, а значит, более чем когда-либо утонченные? В эпоху психоаналитиков и транквилизаторов позволено считать, что придет время — может, через несколько веков, — когда боль, ужас, „страх и трепет“, трудности и парадоксы, связанные с существованием, и даже чувствительность такая, какой мы ее сейчас видим, исчезнут, ибо человечество будет подвергнуто операции гигантской лоботомии. Исчезнет ли вместе с ними поэзия? Умрет ли поэзия, которая и есть эмоции и знания, горе и радость, тревога и утешение? Умрет ли любовь к поэзии, любовь, которая сама — поэзия? Но поэт близкого завтра, которого я здесь воображаю, воспользуется промедлением, возможностью — наверное последней — быть способным страдать и познать боль до дна, проникнуть в нее — насколько глубоко? — скажу словами Лотреамона: „с неиспытанной радостью куколки, приветствующей свою последнюю метаморфозу и умирающей вечером, перед заходом солнца“. Создать наново поэзию? Хорошо. Но прежде всего — создать наново поэта”.

Признаюсь, что среди художественных манифестов, которые я за свою жизнь прочел, этот относится к самым волнующим и одновременно лишен всякого сентиментализма. Это трезвый — да, поэтически трезвый — анализ положения, который определяет не только наше “здесь и сейчас”, но и, поразительным образом, дает решение того, каким будет наше завтра. Этот манифест, провозглашенный поэтом, опыт которого наверняка входит в символический опыт европейца прошлого века, — одновременно призыв и вызов. “Создать наново поэта” — вот основополагающее дело в эпоху, о которой Шимборская пишет, что это “политическая эпоха”. Эту эпоху Александр Ват описал в своем свидетельстве — в книге “Мой век”, которая стала суммированием пройденного им пути. В наброске предисловия к “Моему веку”, тоже напечатанном в этом номере “Зешитов литерацких”, Ват писал:

“Политика — наше предназначение, циклон, в ядре которого мы находимся постоянно, даже если прячемся в скорлупки поэзии. (...) А значит, не надо удивляться, если старый поэт то время, что ему осталось — кто знает, сколько? — на написание своего едва предчувствуемого шедевра, посвящает рапсодиям на политические темы. Рапсодиям — то есть тому, на что он способен, ибо ему отвратителен язык политиков и чужда строгая, целостная, весомая речь ученых. Зато благодаря более родственному общению со словом он может быть ближе к непосредственному восприятию того, от чего слово пытается

нас ограждать. Эта книга была бы не автобиографией, не исповедью и не литературно-политическим трактатом, а подведением итогов личного опыта почти за четверть века „существования” с коммунизмом. Sine ira et studio! В форме своей приближаясь — toutes proportions gardées — к „Былому и думам” Герцена”.

Я читаю всё это и пишу в суматохе, предшествующей парламентским выборам в Польше, в ходе предвыборной кампании, где язык политиков обнажает всё свое ничтожество и выражает презрение к тем, кто пытается искать спасения в “скорлупках поэзии”. Но читаю и пишу в уверенности, что хоть “эпоха — политическая”, а все-таки над всем этим царит убеждение, выраженное в “Соматических стихах” Александра Вата:

*Где нежность и жестокость сплетены в одном  
объятье,*

*там из отростка,*

*умирающего в патетическом жесте,*

*забьет источник жизни.*

И, думаю, хорошо получилось, что в ходе этого нарастающего хаоса и нечленораздельных речей еще сохраняются “Зешиты литерацке”, приносящие надежду, что нам удастся “создать наново поэта”.